

Николай Вагнер

ТЁМНОЕ ДЕЛО



**РОМАН-ХРОНИКА
в четырех частях**

**том II
Части 3 и 4**

Николай Вагнер
Темное дело. Т. 2

«Остеон-Групп»
1881-1884

Вагнер Н. П.

Темное дело. Т. 2 / Н. П. Вагнер — «Остеон-Групп» ,
1881-1884

ISBN 978-5-85689-204-7

Продолжение романа эпопеи Николая Вагнера начинается в осаждённом Севастополе летом 1854 года. В последней, четвертой части романа действие начинается в пореформенном Петербурге, продолжается в Европе.

ISBN 978-5-85689-204-7

© Вагнер Н. П., 1881-1884
© «Остеон-Групп» , 1881-1884

Содержание

Часть третья	6
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Николай Вагнер

Темное дело. Т. 2

© Л.И. Моргун. Литобработка, редактирование, примечания, 2018

© ООО «Остеон-Групп»

* * *

Часть третья

I

В июне месяце 1854 года Севастополь представлял странную картину. Это была смесь обыкновенной, покойной, городской жизни и того тревожного напряжения, с которым врывалась в неё катастрофа войны.

На набережной город ещё сохраняла свою обычную мирную физиономию, но выше виднелись уже то там, то здесь полуразрушенные дома, пустые окна которых чернели, как на пожарище.

Ещё так недавно, в мае месяце, на бульварах звучала музыка и двигалась разряженная публика. Теперь эта музыка окончательно сменилась громом выстрелов, а публика разбежалась или приняла деятельное участие в обороне города.

На нём, на этом маленьком пункте, сосредоточилось теперь внимание всей Европы и целой России. Каждый русский переживал тяжёлые перипетии ожесточённой борьбы, лихорадочно следил за газетами, с твердой уверенностью, что не сегодня, так завтра телеграф принесёт известие, что осада снята, неприятель отбит, Севастополь спасен.

Но тянулись недели, месяцы. Ожесточение отчаянной борьбы росло. Неприятель подступал ближе, и надежда бледнела, исчезала.

* * *

Я, помню, приехал в Севастополь ночью на волах, запряжённых в татарскую арбу или маджару, которую нанял за две станции и заплатил за этот переезд четыре червонца.

Двухколесная, решетчатая одноколлка, на огромных колёсах, ехала шагом, колеса скрипели, а сзади ревел верблюд, который также тащил большую арбу с кладью.

Ночь была ясна. На тёмно-синем небе ярко горели звезды и резко вырезывались огненные дуги от бросаемых бомб. Над Севастополем стояло зарево. Порой то там, то здесь вспыхивали огни то на земле, то в небе и почти несмолкаемый гром и гул стояли в воздухе.

– Кунак имешь? Кунак тащить? Маркитант Семен Дмитрич тащить? – спросил меня высокий, худощавый крымчак в бараньей шапке, мой возница, когда мы стали подъезжать к Севастополю.

– Маркитант, тащи! – отвечал я, переворачиваясь на правый бок, так как левый бок уже порядочно отбило ездой по глубоким колеям и камням.

Но прежде я постараюсь объяснить, каким образом я очутился в Крыму, на дороге к Севастополю.

II.

Пьер Серьчуков и Серафима уехали дальше на юг, ближе к театру войны, и я остался совершенно одинок, но я остался совсем другим человеком.

Месяц с небольшим, который я провел в сообществе с Серафимой, открыл мне другой мир – разумной, сознательной жизни.

Странно и дико, но, тем не менее, совершенно верно – я вышел из университета таким же необразованным дикарём-помещиком, каким поступил в него. По правде сказать, тогдашнее преподавание было весьма жалко и ограничено. Нам говорились, напр., о Воль-

тере, Руссо, энциклопедистах, как о совратителях человеческого ума. Робеспьер и Картуш были одно и то же, только Робеспьер был забористее.

С другой стороны, ничто меня и не призывало к иной жизни, ничто не будило моего блаженного состояния «юного нимврода-помещика».

Серафима дала первый и сильный толчок в другую сторону. В эти четыре неделм, прожитые вместе, мои глаза раскрылись на многое, о существовании чего я даже не подозревал.

С Серафимой было немного книг, её любимых, и я прочел их, и – мало этого – я выписал их, выписал прямо из Парижа и через три месяца получил, правда, далеко не все. Но что книги! Я стал выписывать *Debats* и *Constituonelle* и стал читать их. Одним словом, я долго сам не верил моему превращению.

Серафима принялась развивать меня со всею страстностью её нервной, больной натуры. Мне кажется, что у неё, даже явилась ко мне какая-то особенная симпатия, одна из тех уродливых болезненных привязанностей, которые являются у старых дев к птичкам, собачкам и детям. Но вскоре эта симпатия потеряла свой невинный, платонический характер.

Душные летние вечера и ночи мы обыкновенно проводили на горах, в кустах кизильника, или на открытых нагорных лужайках, куда Серьчуков приносил громадную сеть и дудочку. Он думал ловить ими кавказских куропаток, как ловят наших перепелов, на дудочку, но обыкновенно расстилал сеть, разваливался поудобнее и под нашу тихую беседу засыпал крепко, до утренней зари.

Вечера становились душевнее, наши беседы интимнее. Я начинал чувствовать дружбу к Серафиме, как к старшей сестре, и передавал ей всё, что писала ко мне дорогая Лена, а писала она довольно часто. Я, разумеется, не скрывал от неё ничего из моей умственной ломки и роста. Она, чутко, отзывчиво, с полным сочувствием откликалась на эту работу, поощряла, радовалась и сама развивалась вместе со мною.

«Дорогой мой! – писала она в одном из последних писем, – ты пишешь, что для тебя настал теперь рассвет новой жизни. И я также, вместе с тобой, живу этой жизнью. Мне кажется, что именно теперь я живу полной жизнью ума и сердца. Я читаю много, лихорадочно, всё, что ты рекомендуешь мне, и всё прочитанное проверяю в тебе. Да! Не удивляйся! Ты всегда со мною и во мне. Мне стоит закрыть глаза, и явишься ты, твой добрый, ясный взгляд. Я сейчас спрошу тебя: а правда это или нет? Как ты думаешь? И все мои думы, мысли, чувства – всё проходит через твоё сердце, через мою любовь к тебе, – моя жизнь, радость, моя душа!»

III.

Я, помню, плакал и целовал это письмо. Я думал, неужели наша привязанность может когда-нибудь охладеть, измениться или исчезнуть? Нет! это чувство так глубоко, казалось мне, вросло в мою душу, оно сделалось сознательным, разумным... оно не может ни побледнеть, ни исчезнуть, ни даже затуманиться.

Я, разумеется, передал содержание этого письма Серафиме, и мы вместе радовались и умилялись. Мне казалось, что мы вместе и одинаково любим мою Лену, мою дорогую, «мою душу!»

Прошло несколько вечеров.

– Я, брат, просто удивляюсь, – говорил мне Серьчуков, – что сделалось с Серафимой!? Климат здешний, что ли, на неё так благотворно действует?

– А что?

– Да ты смотри на неё: ведь она цветет, пополнела, помолодела, похорошела!.. Никаких припадков... даже «нервёзность» её точно испарилась. Я просто, кажется, решусь сделать ей формальную «декларацию».

– Вероятно, климат действует.

Увлеченный моею любовью к Лене, я ни о чем не догадывался. Мне было просто приятно, комфортно чувствовать подле себя существо, которое симпатично относилось к моей привязанности.

Один раз вечером мы, по обыкновению, отправились на прогулку.

Серафима в этот вечер была как-то особенно симпатична. Она так наивно, по ребячьи улыбалась, и в глазах её было столько радости, что я невольно крепко пожал её руку и крепко прижал её к груди, когда мы отправились в путь. Эта привилегия водить её на прогулки давно уже принадлежала мне.

Сзади сонно выступал Серьчуков с шалью Серафимы, с сетью, переброшенной через плечо, и карабином за спиной.

Вечер был необыкновенно душен, цикады и стрекозы кричали оглушительно. Какая-то тонкая мгла, не то пыль, не то дым поднялась на высоты и наполнила горный воздух.

К ночи обыкновенно чувствовался лёгкий свежий ветерок, необыкновенно приятный, но Серьчуков при его появлении всегда кутал Серафиму.

На этот раз никакого движения в воздухе, он словно замер в душной неподвижности и весь был налит каким-то пряным ароматом от мелких, цветущих трав, который покрывали все холмы.

Заря ещё стояла на небе. Она чуть-чуть проглядывала между вершинами гор. Она отражалась на их снегах; а самая вершина неба куда-то ушла в глубокую, темную синь и на этой синеве ярко блестели первые звёздочки.

Мы оставили Пьера Серьчукова возиться с его сетью и дудками и отправились в самую чащу кустов. Там было у нас одно излюбленное место, всё окружённое, загороженное кустами. Мы усадились подле сломанного чинара, с искривлёнными, уродливыми ветками.

IV.

Я помню, мы сидели несколько времени, молча, в этом душном, ароматном воздухе.

– Знаете ли, что я думаю? – спросила Серафима смотря в самую глубь потемневший неба, на едва заметную звёздочку. – Я думаю, в небе много миров и каждый из них составляет часть какой-нибудь семьи, какой-нибудь планетной системы. Отчего же между людьми есть одинокие существа, у которых нет ни семьи, ни привязанности?

Она тяжело вздохнула и начала обрывать траву, которая росла у её ножек, обуток в элегантные, атласные, светло-серые ботинки.

– Вы напрасно так думаете, – сказал я. – Может быть, у вас нет симпатий ни к кому, но вы для меня в этот месяц стали весьма дороги, и я на вас не иначе смотрю, как на мою просветительницу и на моего лучшего друга...

Она быстро обернулась ко мне.

– Неужели это правда, Вольдемар!

И она схватила и крепко сжала мою руку. На её глазах выступили слезинки. Она порывисто придвинулась ко мне и прямо смотрела в мои глаза.

– Вы сами чувствуете, что это правда, – сказал я.

– Благодарю, благодарю вас! – прошептала она и тихо прислонилась к моему плечу. Несколько времени она сидела молча, грудь её тяжело дышала. – Знаете ли: – заговорила она тихо и грустно, – я выросла одинокой, без семьи, без подруг?.. Мать была вечно больна, эгрирована¹... Отца я вовсе не знала и видела только раз, когда меня привезли к нему уми-

¹ Эгрировать *aigrir*.устар. Раздражать, озлоблять, ожесточать. «<Евгений> удивительная натура, хотя и эгрированная обстоятельствами».

рающему. Гувернантки, учителя... Ни подруг, ни родных, ни близких... Всё холодно... И я стала холодной... нелюдь...

Она не смотрела на меня, но я чувствовал, как постепенно дрожь её голоса усиливалась, и, наконец, он оборвался...

Она крепко, судорожно сжимала мою руку.

– Серафима! – прошептал я.

Она быстро обернулась ко мне. Нижняя губа её дрожала. Из глаз катились слезы. И в этих глазах было столько грустного чувства, что мне невольно стало жаль её.

– Серафима! – сказал я. – Отныне и на век вы будете моим истинным, дорогим другом...

В глазах её появилось столько детской радости. Её лицо сияло такой наивной простотой, доверчивостью, чувством. Это была настоящая грезовская головка, у которой блестящие глаза с такой любовью, так близко смотрели прямо в мои, как будто ждали от меня чего-то.

Я тихо обнял её и поцеловал.

И я помню, как она вся как бы ослабла под этим поцелуем. Медленно и крепко она обняла меня и прижалась к моей груди своей тяжело волнующейся грудью...

Помню, какой-то внутренний голос шептал мне:

«Отстранись! Отодвинься!»

Но отодвинуться – значило оскорбить её, так казалось мне тогда, оскорбить то глубокое, беззаветное доверие, с каким она отдавалась этой первой братской привязанности в своей жизни.

И я сидел молча.

Я чувствовал жар, трепет её тела, горячего, благоухающего, среди душного, ароматного вечера. Кровь невольно начала закипать во мне, и тяжелая, горячая прилиwała к голове и сердцу.

Как во сне промелькнула в моем представлении Лена, с безмолвным укором... Но я уже не владел собой... Я тихо, трепетно гладил горячую, атласную руку Серафимы, всю открытую, в кисейном, широком рукаве и наши руки «заблудились», как говорят французы...

Я помню её бессильную борьбу, её робкий шёпот, помню её напоминания о Лене, но всё это помню как сквозь сон. Ни я, ни она уже более не владели собой.

V.

– Владимир! Серафима Львовна! – Раздался вблизи радостный голос Серьчукова. – А я поймал!.. смотрите-ка!

Мы быстро вскочили, оправились, и я выскочил к нему из-за кустов. Вслед за мной шла Серафима.

Серьчуков действительно поймал большую горную куро́патку.

Он крепко держал её обеими руками и она тяжело дышала и грустно смотрела на нас своими открытыми, большими, блестящими глазами.

Я помню, что эти глаза тогда напомнили мне глаза Серафимы, когда она обрадовалась моему признанию.

Она подошла к Серьчукову, взяла куро́патку у него из рук, крепко поцеловала её и высоко взбросила кверху. Куро́патка быстро улетела.

– Серафима Львовна!.. Что вы делаете?.. – жалобно вскричал Серьчуков...

– Каждый зверь и птица должны радоваться, Пьер Серьчуков... – проговорила она сентенциозно, слегка дрожащим голосом.

– Чему?

– Любви и свободе...

Он отчаянно махнул рукой, а она схватила меня за руку и быстро повлекла дальше. Пьер Серьчуков, раскрыв рот, с недоумением посмотрел на нас...

Мы пробродили часа два или три. Помню, стала заниматься заря, когда мы вернулись, наконец, домой.

Помню, что с первых же наших шагов меня накрыл демон раскаяния и начал грызть моё сердце.

«Что же я сделал дурное?» утешал я себя... «И кто из двух нас виноват больше: я или она?.. Ведь сколько есть людей, Дон-Жуанов, которые не считают падение преступлением и жуируют жизнью!»...

Но все эти утешения плохо действовали. Внутри стоял неугомонный, подавляющий: упрек, стоял в виде милого, грустного образа моей дорогой Лены, и мне было невыносимо скверно, тяжело, стыдно и противно...

Но в то же время я смутно чувствовал, что я должен поддержать и успокоить её, ту, которая отдалась мне с такой пылкой, самоотверженной привязанностью и шла теперь подле меня довольная и любящая.

И мы говорили, болтали как дети; говорили о нашем детстве, о всяком вздоре... Мы крепко сжимали друг другу руки. Мы ходили обнявшись, и наши шаги, речи прерывались поцелуями, в которых (увы!) не было уже ничего братского.

Но настоящая кара началась на другой день, поутру, когда я вполне убедился, что Серафима отдавалась мне впервые, и что я преступник в полном смысле этого слова...

Я сидел молча, сердце тяжело колотилось в груди, голова кружилась...

«Лена! Лена!.. Как я могу теперь смотреть на тебя, каким голосом говорить с тобой, когда передо мной будет стоять живым укором эта тень соблазненной мной доверчивой девушки!».

«Да разве эта девушка тебе пара?.. Она тебе в тётки годится», говорил смущающий голос.

Но этого-то голоса я и боялся всего больше.

VI.

Часу в 12 пришел ко мне Серьчуков.

– Растолкуй ты мне, что творится с Серафимой. Она цветёт, ликует. Я её пробовал угощать и «Тёмным путем» и всякими «теориями». И даже жидов в ход пустил... Ничего не берёт! Неуязвима и баста! Думал было подступить уже осторожно с «декларацией», но она залилась таким хохотом... И теперь помирает, хохочет! Что у вас вчера произошло?.. Растолкуй, пожалуйста!..

– А то, что я свинья, скотина презренная!.. И ты, ты... в особенности ты, имеешь полнейшее право меня презирать...

И я почти был готов разреветься...

– Напрасно ты предаешься отчаянию... Это вовсе не резонно?.. Если ваше грехопадение совершилось, то что же из этого?..

– Как?! – и я вытаращил на него глаза.

– Так, никак... А я очень рад...

– Чему?

– Д-да тому, что мои теперь пути открыты. Ты с ней поамурничаешь месяца два, потом обратишься с раскаянием сердца к твоей «дорогой Лене», принесешь торжественно покаяние, очистишься и соединишься законным браком, как добрый христианин.

– А ты?

– А я?! Я, брат, женюсь на миллионе и возьму старую деву в виде приданого...

Я с неудовольствием смотрел на него во все глаза.

– Одно только странно мне, братец мой... Куда у неё вдруг девалась вся эта чепуха, от которой я с таким усердием лечу её вот уж третий год. Ведь ты не согласишься, если бы трое субъектов были больны тремя болезнями, которые сидят в ней, то они давно бы окочурились... А она... Поди ты... Сегодня я её основательно досмотрел... Ничего!.. Ну, да врёт, шалит!.. С epilepsy-то она не расстанется. Нет! Дудки!

– И ты женишься на ней, не смотря...

– Ни на что не посмотрю... Ведь миллион!.. Чудак ты!!.. А с epilepsy люди живут... И-и!.. Притом мирная, покойная жизнь, дети! Перемелется и всё мука будет...

И он махнул рукой и вытащил сигару.

– Нет ли, брат, стаканчика кахетинского? Такая анафемская жара. Всё горло скипелось.

И я дал ему кахетинского.

VII.

Через час мы отправились с ним к Серафиме. Он немножко навеселе, я – смущённый и печальный.

Но всё это смущение и печаль сразу рассеялись при встрече с нею! Солнце светило так радостно, и всё лицо её сияло таким довольством, счастьем, любовью; оно было так молодо, свежо, симпатично, что мне показалось в эту минуту, что я действительно люблю её и только одну её.

Она поминутно смеялась и предмет насмешек её был Пьер Серьчуков. Она взглядывала на меня с игривым кокетством и доверчивостью, а Пьер Серьчуков уселся с ногами на оттоманку, в темный угол и бурчал оттуда ленивым, сонным голосом, точно шмель из своей норы.

Но голос его становился глуше, отрывочнее и вдруг он замолк и испустил такой откровенный храп, что она захохотала, но захохотала вполголоса, зажав рот платком.

Затем она тоже, быстро вскочив с дивана, села подле меня, обняла и, шумя шелковым платьем, поцеловала меня таким долгим, восторженным поцелуем, что я чувствовал, как вся кровь во мне опять закипела.

– Пойдем гулять... – шепнула она мне, чуть слышно, разглаживая мои волосы и тяжело дыша.

– Теперь жарко... устанешь.

– Н-н-нет!.. Хочешь, я велю оседлать лошадей... Поедем верхами... Прокатимся... Я прошу тебя!.. Милый!!..

Я согласился и она побежала распорядиться.

Через полчаса мы отправились. Я на своем караковом, она на небольшой, вороной лошадке.

Пьера Серчукова мы оставили мирно спать, на том месте, где он заснул. Она не велела будить его...

Она прекрасно управляла лошастью и длинная синяя амазонка очень ловко сидела на её небольшой стройной фигурке.

Мы ехали рысью – но она торопила лошадь и поминутно поднимала её в галоп.

– Мы доедем до того леса и там отдохнем, – говорила она, указывая на небольшой буковый лесок на холме Джаным-Хакой.

Минут через двадцать мы доехали до этой рощицы, в которой чувствовалась прохлада, или по крайней мере было сноснее от окружающего зноя. Я привязал лошадей к дереву, мы сделали несколько шагов и сели около небольшого ручейка – в тени широколистных буков и кустов кизильника.

Кругом везде была зелень и тени – мягкие, покойные тени... Птички тихо чирикали, ручеек тихо журчал...

Мой смущающий, внутренний голос замолк. Я был счастлив... Я забыл мою дорогую Лену. «Без дум, без сожаления», я наслаждался настоящим...

Да может быть наслаждение тогда только и может быть полно, когда к нему не примешиваются никакие думы и раздумья...

VIII.

Внутренний жар остывал, но снаружи воздух становился душнее... Солнце поднялось высоко и неумолимое накаливание его лучей чувствовалось даже в нашем тенистом приюте.

Мы сидели молча, обнявшись. Она как будто дремала, прислонясь к моей груди.

– Серафима! – сказал я тихо... – Вчера ты напоминала мне об Лене... Я кажусь презренным самому себе...

Она быстро подняла голову и обернула ко мне глаза, полные любовью.

– Милый! Милый!.. Не упрекай меня!.. Я не хочу, я не думаю разрушать твоего счастья... На пути к нему, ты бросил мне один кусочек его... Кусочек блаженства, людской любви... Которую я не знала никогда в моей жизни... Не испытала никогда... О! Как я тебе благодарна... Как я буду помнить... вечно...

И она схватила мои руки и начала их быстро и крепко целовать, обливая слезами.

Я отнял их. Я повернул её лицо к себе. Она зажмурила глаза, из которых катились крупные слезы.

– Разве я претендую на что-нибудь, – шептала она тихо. – Разве я требую, прошу чего-нибудь... Я теперь довольна тем малым, что ты мне бросил.

– Фима! – сказал я (это было её детское имя, которым звала её мать). – Фима!.. Не плачь!.. Я люблю тебя, больше чем сестру, больше чем друга... Но...

– Довольно!.. – вскричала она, – мне слишком довольно! Больше чем нужно, чем я могла надеяться!.. Ах! Милый!..

И она опять припала к моему плечу – и сидела молча несколько мгновений, крепко сжимая мою руку. Её амазонка была расстёгнута, шнуровка распушена. Длинные шнуры её лежали на моих коленях и тихо качался маленький крестик на золотой цепочке, который висел на её шее.

– Знаешь ли, мой дорогой... Я никогда не думала, не рассчитывала... на чью бы то ни было привязанность. Когда я была молода...

– Ты и теперь не стара...

– Н-ну!.. Ты мальчик сравнительно со мной... а я, я – «старая дева».

– Нет, ты теперь не «дева».

– Молчи... Бесстыдник! Слушай, не прерывай меня... Где бы ты ни был... Чем бы и кем бы ты ни был, моя привязанность, дружба к тебе сохранится, как святыня в моей груди... Клянусь тебе Богом, которого я люблю – и она благоговейно взяла и крепко поцеловала крестик. – Эта клятва – для меня самой... Я знаю, что тебе она не нужна.

– Зачем же ты так думаешь!..

– Слушай! Слушай! Не прерывай меня... а не то я опять расплачусь... Будь счастлив с твоей Леной, я верю, что она стоит этого счастья... полного, глубокого... Я не завидую ей. Моя песенка спета... И на потухающей, уже вечерней заре моей жизни, ты бросил мне осеннюю розу... (Она говорила почти шепотом, припав к моей щеке). О! Вот за это!.. За это!.. Я вечно сохраню благодарность к тебе в моем сердце и к Тому... Кто создал это сердце. А теперь... пойдем... Пора завтракать... Пьер Серьчуков...

И она быстро вскочила и началаправлять платье.

Её лицо сияло восторгом, благодарностью... Из глаз катились слезы.

– Фима! – сказал я, крепко целуя её руку... – У тебя славное сердце... Дорогая душа!.. Как жаль, что мы не встретились с тобой раньше!..

IX.

После этого утра – дни за днями полетели незаметно... Или, по крайней мере, мы не замечали их полета.

Пьер Серьчуков положительно превратился в нашу «проводальку». Мы ходили парой. Он был всюду нашим хвостом. Мы, наконец, при нем начали нежничать, говорить друг другу «ты» и целоваться. И это нисколько его не шокировало.

– Это совершенно резонно и благоразумно, – находил он. – Что ж? Я доктор, где случится рана... Я явлюсь, перевяжу – пропишу кальмант²...

– Calmant!.. – поправила его Серафима.

– Ну!.. Ладно!.. – И он махнул рукой.

По утрам он стал чаще заходить ко мне и напиваться кахетинским. Я было попробовал говорить, что у меня нет вина. Но он на другой же день прислал мне целых три кувшина...

– Я тебе, говорить, не мешаю. И ты мне не мешай!.. А там, у твоей «девы» мне нельзя орудовать... Там строго!..

Так прошло незаметно около двух месяцев. И мне казалось, что такая жизнь может продлиться без конца.

Там где-то вдали у меня был друг, «моя душа» – при воспоминании о которой сердце сладко сжималось. Здесь тоже друг – нежный, любящий. Чего же мне не доставало?!

От Лены я получал аккуратно каждую неделю письмо, которое отдавали мне тотчас же, не задерживая и не вскрывая. В этих письмах мы продолжали «развивать себя», и если бы их вскрыли, то, может быть, они и не дошли бы до нас, хотя, собственно говоря, в них ничего не угрожало ни европейскому порядку вообще, ни кавказскому, в частности. Была философия, подчас толковалось «о тёмном пути»... Впрочем, об этом пути у нас гораздо чаще был разговор с Серафимой, в котором принимал участие и Серьчуков. Но только теперь мы вдвоём нападали на него.

– Все это фантазии, теории, – отмахивался он от нас... – Выдумают, что всё дурно идёт. А попробуют сами приняться... Такой чепухи нагородят!..

– Да не о том тебе говорят... Основания ложны. Пойми ты?... Здесь дело в фундаменте, в самой постановке дела... а затем в методе, а главное в том, что мы сами не знаем, куда идём и что творим.

– Чепуха, чепуховщина чепуховская!..

И он упорно погружался в себя и отмалчивался.

X.

В начале августа я раз утром встал поздно и, но обыкновенно, собирался идти к Серафиме. Помню, утро было необыкновенно жаркое. Сухой, мглистый воздух давил грудь. Какие-то белесоватые тучки бродили по горизонту.

Я не успел ещё выйти из крепости, как мне навстречу попался Гаэтан, армянин, брат хозяйки той сакли, которую занимала Серафима.

Завидев меня, он замахал руками, забормотал и высоко поднял кверху что-то небольшое белое, какою, то бумагу, письмецо.

² Средство, имеющее седативный или успокоительный эффект.

Он подошел ко мне и начал своим гортанным, певучим говором:
– Ходы нет!.. Ходы нет!.. Господин... Все прочь тащил... Серчук... фью!.. Серафим...
фью!.. Далёк, далёк... Вот тебе письма пысал.
И он подал мне письмо, написанное по-французски.
Оно было от Серафимы.

«Мой добрый, милый, дорогой друг! – писала она. – Когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко от тебя. Мне тяжело было скрывать от тебя вчера предстоящую нам разлуку. Я боялась, чтобы ты не отгадал её. Но ты был, как всегда, ясен, весел, беззаботен.

Прости, прости мой милый, милый, дорогой друг! Не скрою от тебя: мне тяжело расстаться с тобой, может быть, на всегда, на веки!

Я уношу в сердце дорогое воспоминание о тебе, любовь к тебе, а под сердцем залог того мимолётного счастья, которое ты подарил мне.

О! какая радость проникает это сердце при мысли, что я буду матерью твоего ребенка. Эта мысль будет утешать меня в разлуке. Сына или дочь пошлет мне Бог, все равно. Это будет твой сын, твоя дочь!.. У меня будет привязанность! Меня будут любить и я буду любить!.. Господи! Сколько радости!..

Пьер Серьчуков опять нянчится со мной (Добрый Пьер!). Он шлет тебе прощальный, дружеский поклон.

Прощай моя любовь, моя радость! Я буду жить воспоминанием о тебе и буду молиться о твоём счастье с Леной! Прости на век... в этой жизни...

Твоя S.»

Какой-то беловатый туман застилал мои глаза когда я понял это письмо.
Чуть не бегом я бросился к фурштадту. Армянин бежал сзади и повторял:
– Ходы нет, гаспадин!.. Ходы нет!.. Все прочь тащил...

Мне не верилось.

Как маленький ребенок, я не мог сродниться вдруг, сразу, с новым представлением. Мне, как Фоме Неверующему, надо было вложить персты в рану.

Отирая пот, который градом катился с моего лица я наконец, дошагал до того домика, той сакли, которая была моей приманкой и наполняла мои мысли и чувства.

В ней и следа не было прежнего убранства. Это была обыкновенная сакля, только несколько более просторная.

Я вошёл в ту комнату, в которой ещё не улёгся аромат духов моей милой, моей доброй Серафимы...

В ней было всё иное, не похожее на то что меня окружало здесь таким сладким блаженством. Только над окном на маленькой полочке, лежал веер, тот самый веер который я видел каждый день в руках моей Серафимы.

– Забыл ханым!.. – сказала татарка, хозяйка сакли, которая стояла тут же, в комнате, и подала мне веер.

Я взял его, дал ей рубль и выбежал вон.

Я чувствовал, как слезы подступали к горлу и душили меня.

XI.

Несколько дней я пролежал в постели и Василий Иванович думал, что ко мне опять вернётся прежнее сумасшествие... Но, слава Богу, этого не случилось.

Я обдумал моё положение, обдумал многое, над чем прежде не задумывался, и решил испробовать новую жизнь.

Обе, и Лена, и Серафима меня бросили, бежали от меня. Одна из великой идеи – любви к родине, к общему, вместо любви к милому. Другая из великого чувства – жертвовать для любимого человека собственным счастьем.

Что ж я, сам, был в игре этих сильных чувств женского сердца? – Мальчишка, который живёт минутой, которому нужно наслаждение жизнью, а не её серьёзные, строгие, разумные требования!..

И я твердо решил основательно заняться моим образованием и перевоспитанием. Толчок был дан Серафимой, моей самоотверженной Серафимой, и мне стоит только продолжать то, что мы с нею начали.

Как бы в подкрепление меня на этом новом пути я получил новый транспорт книг из Парижа, и в тот же вечер мне принесли письмо от моей дорогой Лены.

«Милый мой! – писала она в конце этого письма, – ты видишь, что я иду вперёд большими шагами. Помнишь ли то время, когда мы с тобой, сидя около крепости, зевали на ворон и рассуждали, куда они летят? – Господи! какие мы были дети с тобой!

Я только что кончила *Histoire de Consulat et de l'Empire*³ – и. теперь читаю *Les Girondins*⁴ – Ламартина. Ах! Что это за прелесть, точно роман!

На днях, у одних знакомых мне попался Штиллинг. – Я не знаю верить ли этой книге или нет, но она так поэтична. – Если жизнь за гробом действительно существует (я в этом не сомневаюсь нисколько), то она именно должна существовать в такой поэтической форме.

Знаешь ли? Я думаю каждый человек, тогда только достоин называться человеком, когда он постиг все, научился всему, что ему доступно здесь на земле. – Земная истина темная, узкая истина – но без неё мы не узнаем истины небесной... Впрочем я уже начинаю пускаться в гипотезы о предметах весьма отвлечённых, а так хотелось бы все знать».

XII.

Я довольно резко изменил мой образ жизни и сделался опять анахоретом, как во «дни оны» у себя в деревне, после смерти матери.

Всякие посещения кого бы то ни было и меня самого я прекратил. Я чувствовал, что только таким образом, ограждённый строгим уединением, я не сойбюсь с моего настоящего пути, который считал правильным.

Я вставал в 6 ч. утра – ложился в 10 – и вообще распределил время и свои занятия по часам. Впрочем эти занятия состояли исключительно в чтении, – только я делил его на более серьезное и менее серьезное.

Пробовал я обращаться к моим товарищам с моими чтениями – но должен признаться, хотя и стыдно, что это чтение их нисколько не заинтересовало.

Все под разными, благовидными предложениями, отлынивали – и один только Бисюткин, терпеливо слушал и рассуждал, но именно эти рассуждения были до того дики, бестолковы, что я рад был, когда от него отделился.

Все от меня отшатнулись и называли «Эрмитом Эрмитовичем Анахоретовым».

³ «История Консулата и Империи».

⁴ «Жирондисты».

Я сам теперь удивляюсь: каким образом в течение долгих месяцев, в течение осени и зимы я мог выдержать такое затворничество.

Но я его выдержал. — Лена, моя дорогая. Лена — хвалила и восхищалась мной.

Я лихорадочно следил по газетам, за перипетиями Севастопольской осады и это был единственный пункт нашего сближения с моими товарищами. Я переводил им статьи из французских газет, хотя сильно урезанные или замазанные, — но они слушали их с напряжённым вниманием.

Наступила весна. — Севастопольская осада стала принимать угрожающие размеры и меня неудержимо тянуло туда, на место битвы.

Я советовался с товарищами и они говорили, что перевод в крымскую армию весьма лёгкий, что там много вакансий, в особенности в артиллерии.

— Переведут любёхонько.

— Но как же я буду артиллеристом! Ведь я ничего не знаю, не обучался.

— Плёвое дело-с! — говорил Глушков, — поезжайте в Тифлис, прикомандируют к бригаде — и в два месяца будете артиллеристом-с.

Я так и сделал. Подал прошение, меня прикомандировали и через два месяца я выучил и построение, и пальбу с прицела, и пальбу с навеса...

Как это ни странно, но это — факт!

XIII.

Возвратясь в свою крепостцу, я опять превратился в «Эрмита Эрмитовича» — и с нетерпением стал ожидать моего перевода в Крым.

Весна приближалась. Все канавки и ложбины наполнились горными водами. Всюду стоял несмолкаемый шум. Жёлтая вода Алаганки несла громадные камни и вся превратилась в пену и брызги.

Снова появились весенние розы и пышные азалии и воздух наполнился пением жаворонков и множеством маленьких прилётных и перелётных птичек.

Все это живо напомнило мне мою дорогую Лену. Каждое место, лужайка, лесок будили грустные воспоминания о прежней блаженной жизни вдвоём.

Приближался конец моего испытания и сердце сладко сжималось при мысли о прежней двойной жизни, при мысли, что осталось всего два месяца и несколько дней и я снова прижму к сердцу мою милую, дорогую, ненаглядную.

Но вместе с этим чувством радостной истомы, поднимался строгий, смущающий голос, и сердце упало, холодело.

«А разве ты выдержал испытание»?! — говорил этот суровый неподкупный голос, и образ грустной, самоотверженной Серафимы, как живой, вставал перед глазами живым, тяжёлым укором.

Напрасно я оправдывал себя в собственных глазах, называл моё падение простым увлечением, горячей крови. В сердце уже не было того чистого, светлого порыва, с которым я мог бы явиться теперь перед глазами чистой девушки, моей дорогой, моей любящей невесты.

Почти каждую ночь, как я закрывал глаза, передо мной вставал её образ. В безумии я молил о прощении. Я плакал, стонал, метался... Я молился горячо и страстно... Но... угрызение совести стояло, как холодный, неумолимый призрак и давило сердце.

Вы все, которые играете жизнью и её наслаждением, вы которые заглушили в себе этот тяжёлый, неумолимый голос — сколько раз я завидовал вам, сколько раз, среди душных, бессонных, кавказских ночей, я страстно желал превратиться в какого-нибудь «пошляка» подобного вам, ни о чем не думающего, кроме наслаждений собственного тела!..

Я наконец решился во всем признаться Лене, высказать ей всё, с полной искренностью, всё, начиная с моего падения, до последних мучений совести...

– Не может быть, – думал я, – чтобы она, добрая моя, любящая, не простит меня...

И я написал ей и описал всё, как было. Я не скрыл от неё ни одного мимолетного оттенка моих чувств, – и стал ждать ответа, как приговора.

XIV.

Прошел месяц, два месяца мучительного ожидания и, наконец я получил ответ. Вот он:

«Мой милый брат! Благодарю тебя за откровенное признание. Не скрою от тебя, что оно произвело на меня тяжёлое, убийственное впечатление. Я только теперь начинаю оправляться от тяжелой болезни, причина которой было это признание».

До него я вполне надеялась на твои силы. Я верила в них. Твоя одиночная жизнь, которую ты мне описывал, твои занятия – всё это радовало меня, успокаивало, обещало мне прочную будущность и верное счастье.

Твоё признание все разрушило.

У меня ещё есть любовь к тебе (не хочу этого скрывать от тебя) – но как тяжело, безотрадно теперь это чувство!.. Между нами стоит тень этой самоотверженной девушки, которую ты так жестоко обманул твоими ветреными чувствами. Я теперь знаю, по боли собственного сердца, что значит отказаться от любимого человека.

Но нас разделяет ещё больше, сильнее твой увлекающийся, влюбчивый характер. Горе той женщине, которая увлечется тобою и опрометчиво соединит свою судьбу с твоею – на слёзы, на горе, и страдание целой, может быть, долгой жизни!

Напрасно ты умоляешь меня о прощении. Я давно простила тебя в глубине моего сердца и моей души. Но можешь ли ты сам простить себя? Не забудешься ли ты снова перед первой женщиной, с которой ты станешь в близкие, дружеские отношения?

У меня другая натура, чем у твоей несчастной Серафимы. Я думаю, если человек любит меня и я его люблю, то мы должны принадлежать друг другу безраздельно. Каждая посторонняя привязанность вносит двусмысленность, охлаждение. Каждое чувство тогда только сильно, когда оно цельно...

Прости же навсегда, моя мечта, мой жених, моя любовь! – Я говорю это без содрогания сердца. Я сумела теперь помириться с этой могилой, которая ещё так недавно, недели две тому назад, пугала меня своим мертвенным холодом.

Бесстрастная, холодная, похоронившая свое единственное, бесценное сокровище – я буду теперь любить всех и никого в особенности. В любви к страждущему человеку я найду утешение, забвение от слишком тяжёлого удара.

Прощай, мой брат. Прощай, женх мой!

Любящая тебя сестра Лена.»

Не буду передавать и описывать той невыносимой тяжести в сердце, которая явилась у меня при чтении этого письма.

Я буквально помертвел. Я чувствовал, что каждая строка этого ответа – это целое выстраданное решение; что весь он написан не под увлечением минуты, но под влиянием созревшего, холодного, неумолимого решения.

«Если там могила, то и здесь должна быть могила!», – говорил я себе, машинально бродя по пригоркам и между кустами кизильника, полными летней певучей жизни и зелени.

Неужели же я – я, мужчина, не поднимусь до такого холодного индифферентизма, аскетизма как она, – она, убитая моим увлечением, легкомыслием, ветреностью?!..

И я чувствовал, или мне это только казалось тогда, что моя жизнь с этого момента раскалывается на двое, пополам. Что там назади похоронены все светлые мечты молодости, золотые юношеские грёзы, а теперь настала пора суровой, рассудочной деятельности, без увлечений, без ласки. Теплая жизнь сердца кончилась, настала холодная, осенняя пора рассудка!..

XV.

Я просуществовал такую жизнью более месяца. Я ждал терпеливо моего перевода в Крым и наконец дождался. Меня перевели в N... артиллерийскую бригаду.

Сдерживая свое волнение на каждом шагу, я осмотрительно начал собираться. Уложил и отправил в деревню почти все мои книги. Холодно, вежливо простился с товарищами и пошел проститься со всеми местами, где я был счастлив когда-то (теперь для меня недавнее прошлое отодвинулось в неизмеримую даль).

Несколько раз сердце замирало и слезы подступали к горлу, когда я останавливался в рощицах, на холмах, по которым мы гуляли с Леной, или на тех местах, где я был счастлив с моей доброй Серафимой.

Это было горькое, тяжёлое испытание собственных чувств, но я выдержал его и снова мир и тишина могилы накрыли мою застывшую душу.

Безумец! Я действительно думал тогда, что можно переменить натуру. Мне казалось, что вся жизнь моя может пройти в такой строгой выдержанности – как жизнь холодного, бесстрастного стойка! О как жестоко я ошибался!

Помню два месяца как я отдал уже моё зеркало Бисюткину, чтобы это зеркало не соблазняло меня моею собственною внешностью. Я хотел жить вполне всецело для своего внутреннего я.

Прощаясь с моими товарищами я зашёл к Бисюткину и невольно взглянул в моё зеркало. Господи, как я переменился! Похудел, пожелтел. На лбу вырезались какие-то складки недоумения – внутренней умственной работы.

«Теперь бы Лена не узнала меня!» – подумал я и горько улыбнулся. – «Моя дорогая Лена!» – подсказало сердце.

Теперь и усики мои сильно отросли, а как я добивался этого два года тому назад!..

Через два дня вечером я уехал в Севастополь. Уехал, не замеченный никем и никто не провожал меня.

XVI.

Сон сильно клонил меня и наконец совсем одолел, когда после разных ям, камней и выбоин, после невыносимых толчков и качков мы, наконец, подъехали к длинному полотняному барaku, который представлял заведение маркитанта.

Несколько раз во время этого крошечного длинного пути, я воображал себя в аду. Зловещее зарево, обхватившее чуть не пол-горизонта и отражавшееся в туче, закрывшей Севастополь, яркие огни снарядов, летающие по небу, гул и гром выстрелов, – всё это с каждым

шагом наших волов подступало ближе... Но и с этим кажущимся адом я свыкся – с чем человек не свыкается! – и даже задремал, смотря на постоянное мелькание ярких огней, которые мне казались искрами от паровой трубы, летающими по небу.

Настоящий ад обступил меня теперь, когда я попал в маркитанский балаган.

Гул от него уже слышался издали, когда мы стали подъезжать к нему. Этот гул напоминал стукотню и грохот каких-то машин на фабрике. Помню, он мне ясно слышался даже сквозь одолевавшую меня дрему. И этот неистовый шум, говор, крик обхватили меня, как только дверь балагана раскрылась передо мной. Среди общего несмолкаемого гула я ясно различал отдельные выкрикивания.

– Пошел к семи дьяволам в пекло! – гудел какой-то бас...

– Изобью! Анафема!!

– Тише! Черти!!!

– Miroton, Mirotain, Mirotainel!

– Ах вы! разьетереберееберебебе...

– Вас куда?! – кричал мне под ухо какой-то парень. – В общую или в номер?.. У нас теперь номеров нет... всё занято...

И он потащил меня по длинному дощатому коридору туда, где, казалось, именно гудела несмолкаемым гулом чудовищная, адская машина.

Хохот, дикий визг, отчаянные вскрикивания окружили меня со всех сторон.

– Господа! Новый груздь лезет.

– Полежай в кузов!.. Полежай в кузов!.. Куча мала!

– Честь имею с прибытием!.. – И какая-то толстая усатая морда, от которой разило вином, лезла ко мне нахально, с стаканом водки...

– Я не пью!

– После будешь не пить! А теперь с прибытием. Пей!!.. А не то будешь с прибытием.

– Да я не пью...

Но не успел я это выговорить, как несколько здоровых ручищ схватило меня, а толстая морда почти насильно влила мне в горло стакан отвратительной водки.

– Крещён, наречён, освещён!.. – проговорил он хриплым, пьяным басом...

– Аминь! – пропел тоненький пьяный фальцет.

Затем меня толкнули в какой-то угол, на какие-то мешки и я решил, что сила солому ломит и через пять минут захрапел...

XVII.

Рано, на заре, меня разбудил кошмар... Я видел, что мы едем по отвратительной дороге и верблюд сзади жалобно стонет. Я стараюсь всячески уснуть, затыкаю уши, но жалобный стон всё-таки раздаётся. Наконец я вижу, что это не верблюд, а какой-то толстый майор с длинейшими усами пристаёт ко мне с стаканом вина и хочет меня утопить в стакане. Я, разумеется, сопротивляюсь.

Но с каждым стоном он подходит всё ближе, ближе ко мне... И вдруг опрокидывает на меня стакан. Вместо вина что-то черное, мохнатое, тяжелое с страшным громом разливается по мне.

Я хочу пошевелиться, закричать... но горло пересохло, руки ноги не двигаются... Наконец я употребляю сверхъестественные усилия; дико вскрикиваю и просыпаюсь...

Сквозь какие-то крохотные окошечки пробивается красный свет восходящего солнца. Всё валяется вповалку, спит и храпит.

Я встаю как был, так как с вечера свалился не раздеваясь, кое-как оправляюсь, и добираюсь до двора.

На улице меня встречает верблюд своим отвратительным стоном. Он стоит тут же, привязанный к каким-то яслям. И тут же привязаны наши волы и тут же спят бараны, а кругом их, вповалку на земле, точно убитые, в разных позах разметались разные молодцы: денщики, парни, татары, армяне и всякий народ.

Я расплатился за ночлег, за который с меня содрали больше рубля, расспросил и отправился пешком в город отыскивать себе квартиру.

Весьма удачно я нашёл две комнатки, в переулке около Графской набережной, у какой-то вдовы матроски Аграфены Степановны.

Перевез весь мой скарб, устроился по походному и в 9 часов, приодевшись в мундир, явился в штаб.

Там я узнал, что пока я, временно прикомандирован к 5-му бастиону, и, не долго думая, расспросил где квартира батарейного командира и отправился прямо к нему.

Он жил недалеко, в двух шагах, в чистеньком домике, у которого задняя стенка была разрушена, вероятно, шальной бомбой, неизвестно откуда залетевшей.

На небольшом крыльчке грелся на солнце громадный кот и, щуря глаза, зорко посматривал кругом.

Перед крыльцом стоял, ярко зеленея на солнце, зарядный ящик и перед ним лениво ходил солдатик с тесаком наголо.

Он сделал мне на караул, и я вошёл на крыльцо. За дверями, в сенях раздавалась крупная брань, чисто в русском вкусе.

Я отворил низенькую дверь и передо мной очутились какая-то баба и солдат, очевидно денщик.

— Полковник дома?

— Никак нет, ваше-бродие!.. На баскион ушедши ваше-бродие! Скоро изволят вернуться, ваше-бродие.

Я сбросил шинель и вошёл в комнату.

Два, три плетёных стула, диванчик и 2 ломберных стола. Новенькое седло, стоящее на небольших козлах. На окнах обломки гранат и бомб, разложенные и не собранные артиллерийские снаряды.

Я заглянул в другую комнату: чистенькая походная кровать, перед ней маленький коврик и опять седло с прибором. Я опустил на стул и начал ждать.

XVIII.

Через несколько минут раздались громкие голоса, дверь распахнулась и вошёл полковник, довольно высокий, плотный господин, с открытым, серьёзным лицом и длинными русыми усами.

Его сопровождало несколько артиллерийских офицеров. Я подошел и представился.

— Очень рады-с. Вы ведь с Кавказа переведены к нам-с?.. Милости просим, осмотритесь!.. Сегодня мы пробудем в городе, а завтра — на бастион.

Я живо познакомился с товарищами, с коротеньким, лысеньким капитаном Шалболкиным, майором Фарашиковым, с поручиками Сафонским и Тугориним.

В 12 часов мы сели обедать. Я сразу как будто очутился в кругу родных или давно знакомых лиц. Всё у них было просто, все они были теплые, добрые, честные ребята. На меня смотрели, как на младшего, на новичка, и все старательно за мной ухаживали.

На другой день, в 8 часов, я пришел опять к полковнику и мы вместе отправились на бастион. Сзади нас шел денщик, таща какой-то вьюк для полковника.

Должно заметить, что во все продолжение последних месяцев, живя замкнутой, от всех отчужденной жизнью, я успел омизантропиться и одичать, но всё это как бы чудом соско-

чило при встрече с теми искренне откровенными личностями, который теперь меня окружали; соскочило, впрочем, не надолго.

Вечером, когда я вернулся к себе в одинокую квартирку, на меня опять нашло мрачно-философское настроение. Мои последние потери, бесцельная жизнь – всё это снова выплыло, надавило и я не без удовольствия подумал, слушая рассказы новых боевых товарищей, что здесь смерть каждую секунду висит на волоске от каждого человека... а там – минутное переселение в новую жизнь или, может быть, желанную нирвану...

Под этим настроением я пришел к полковнику, который, показалось мне, встретил меня сосредоточенно серьезно, осмотрел с ног до головы. Спросил: пил ли я чай? И затем быстро вышел на свежий, утренний воздух. Я пошел рядом с ним.

Мы молча пришли на край, где разрушение уже сильно давало о себе знать, прошли Морскую, прошли два или три домика, совершенно разбитых и начали подниматься в гору, на конце которой был бастион.

Несколько раз приходилось наступать на зарывшиеся гранаты или осколки бомб. По сторонам виднелись глубокие ямы – также следы снарядов. Вдали расстился полукруг неприятельских апрошей, на которых то там, то здесь взвивались беловатые дымки.

XIX.

Взбираясь на горку, ведущую к бастиону, мы шли под выстрелами и здесь, в первый раз в жизни, мне привелось познакомиться с артиллерийским огнём.

В нескольких саженях от нас, с каким-то странным, ухающим гулом, пролетали ядра и каждый раз мне казалось, что я чувствую как бы дуновение теплого воздуха. Но это мне, вероятно, только так казалось.

Над головами нашими, высоко проносились, с каким-то мягким посвистыванием бомбы. Некоторые из них, казалось останавливались над головой в темно-синем небе и быстро опускались вниз.

«Вот! – думалось, – удар и начнётся другая жизнь.»

Но бомба тихо проносилась мимо и, быстро удаляясь, падала в стороне или позади, гулко шлепаясь о землю.

Какой-то вздох, словно вздох земли, слышался при этом тяжелом падении и вслед за ним страшный удар, взрыв и с резким взвизгиванием и звоном разлетались осколки, взметывая вверх целые облака пыли и клубы сизого дыма.

– Здесь не так опасно, – сказал мне полковник. – Сюда залетают только заблудшие артиллерийские гостинцы. Но в виду траншей.... там, под штуцерными выстрелами... там места... того... горячие.

И он, с какой-то неопределённой улыбкой пристально посмотрел на меня, своими большими светло-голубыми глазами.

Когда подошли мы к бастиону то я, признаюсь, не вдруг догадался о его присутствии. Мы поднимались постоянно в горку и перед самым входом в бастион была навалена порядочная стенка всяких обломков, в том числе и обломков чугуна, т. е. бомб и гранат. Здесь были разбитые туры, камни, кирпич, всякий мусор. Одним словом всё представляло место какой-то постройки, с которого ещё не успели убрать всякую дрянь.

– Здесь осторожнее, под горку, – предостерег полковник. – Вот мы и пришли...

И мы действительно спустились под горку и очутились в бастионе, на дне которого, на земле всюду, под ногами, валялись черепки от бомб. Одни тусклые, другие – отшлифованные, блестящие.

Самые стены этого бастиона имели какой-то необычайный своеобразный вид. Они напоминали что-то в роде черкесских саклей, в миниатюре. Везде торчал фашичник, пле-

тёнки, везде масса наваленной земли, навесы, блиндажи – какие-то дверцы, конурки, – точно задний двор какого-нибудь петербургского захолустья.

Из всех дверей к нам выскочили матросики, солдатики, выползли товарищи. Мы поздоровались. Полковник спросил:

– Все ли благополучно? – и сняв шапку с большой немного облысевшей головы, тихо перекрестился большим крестом перед иконой, которая стояла на столике впереди, под толстым блиндажом.

Несколько свечей, вставленных в широкую доску, ярко горели перед ней.

XX.

– А мы ещё снаружи не оглядели!.. Вот! Пойдем с ними, – сказал полковник, кивнув на меня.

И мы снова отправились на горку; обогнули на линию выстрелов, – но это уже были не артиллерийские «заблудшие гостинцы», – а меткий штуцерный огонь.

Мы шли вдоль небольшой стенки, по узенькому парапету. Стенка то там, то здесь была разрушена меткими выстрелами.

Пули пели и визжали вокруг нас. Полковник шел тем же твердым, неторопливым шагом. По временам он искоса взглядывал на меня.

«Что брат? – подумал я. – Никак ты вздумал испытать меня? Нет! Я птица обстрелянная кавказским порохом. Шалишь!»

И я невольно с внутренним довольством улыбнулся. В моем воспоминании явственно встала темная ненастная ночь, постоянное щёлканье черкесских ружей, визг пуль и несмолкаемое «Алла! Алла! Алла!»..

Мы не прошли и десятка шагов, как полковник быстро нагнулся и схватил себя за ногу – немного выше колена. Он так же быстро отнял руку. На ней была кровь.

– Ничего-с! Царапина! – сказал он, вынимая платок. – Идёмте, идёмте-с!! Здесь опасно останавливаться. Как раз за мишень сочтут-с.

Но не успел он это проговорить, как сбоку нас, словно из земли, вырос солдатик и прикрыл полковника, точно щитом, громадным вьюком, который он с трудом тащил.

– Что ты, дурак! – Зачем?! – вскричал полковник.

Но не успел солдатик ответить, меткая пуля ударила ему в колено и повалила его.

– Идёмте! Идёмте!.. – вскричал торопливо полковник и даже протянул ко мне руку. – А ты лежи здесь, каналья!.. – прокричал он. – Пришлем за тобой... Ведь этакой дуботолк!!

– Прикрытие!.. Ваше вско-родие! – пробормотал вслед нам жалобно солдатик.

– Слышите! Это он нас прикрывать вздумал... вьюком!.. А? Х-ха!.. Как это вам нравится? – И он, как мне казалось, ускорил шаг. Но может быть это было просто следствие его внутреннего волнения.

Мы дошли до ближайшего мерлона⁵ – и по узенькой, скрытой лесенке, которая прежде была каменная, а теперь стала почти совсем земляная – взобрались наверх и подземным ходом прошли в бастион.

– Пришлите скорей людей... убрать... – распоряжался полковник. – Там денщик – на стенке... Этаким дурак!

Тотчас же неторопливо несколько матросов, захватив носилки, отправились на стенку; а полковник, прислонясь к фашиннику около иконы, рассказывал, что с нами случилось.

⁵ **Мерлон** (от фр. **merlon** – простенок), то же, что зубец – одинаковые выступы с равными просветами (бойницами), завершающие крепостную стену, в верхней части.

– Бы ранены? – вскричал Фарашиков, указывая на ногу полковника, перевязанную белым платком, на котором выступила кровь.

– Пустяки! Царапина!.. – сказал полковник, махнув рукой.

XXI.

Наше хождение около стенки и раненый солдат с вьюком вызвали ожесточённую пальбу.

Должно заметить, что в это время обоюдное напряжение боевого настроения на обеих сторонах достигло крайней степени. Какой-нибудь пустой повод вызывал продолжительную и сильную канонаду со стороны неприятеля. Мы, разумеется, не оставались в долгу.

– Вы, – обратился ко мне полковник, – завтра же перебирайтесь к нам. Надо усилить вооружение...

Но голос его был прерван командой высокого смуглого лейтенанта Струмбинского, которого я вчера не видал у полковника.

– Эй! – закричал он зычным басом на комендора. – Бомбу!

Прислуга бросилась к пятипудовому бомбическому орудью.

– Какой заряд? – спросил лейтенант.

– Бомба.

– Ставь на среднюю 4х-пушечную!.. Пали!.. – Комендор нагнулся и чугунное чудовище в 400 п. весом тяжело отскочило назад. Нас обдало клубами горячего, вонючего дыма и вслед за ним раздался такой оглушительный удар, что я думал мы все оглохнем.

В ответ на этот гостинец, к нам тотчас же прилетели два ядра, одно вслед за другим. Первое пролетело над бастионом.

Вестовой у бруствера прокричал «Пуш-ка!»

Другое ядро ударило в самый бруствер и сгладило тарель у одного орудия.

В это время с соседнего бастиона было пущено по траншейным работам два выстрела гранатами или, как выражались на бастионах, «два капральства». Светлыми искорками рассыпались гранаты над неприятельской траншеей и начали лопаться в воздухе точно перекатный ружейный огонь. В ответ на эту пальбу, чуть слышно долетел до нас какой-то отдаленный крик.

– Не любит нашего капральства! – пояснил комендор.

– Это самый, что ни на есть, вредоносный огонь для него, – добавил весь закопчённый порохом матросик.

Но только что успел он это проговорить, как новое ядро прилетело в амбразуру и снесло ему голову.

Помню, я стоял от него в двух-трех шагах. Я видел только, как что-то с визгом ударило его и как он быстро опустился, вскинув руки на землю. Чем-то теплым, горячим брызнуло мне в лицо.

– Кровь! Мозг! – подумал я, холодея.

И ужас быстрой, безобразной смерти в первый раз представился мне во всей её ужасающей нелепости.

XXII.

Тотчас же несколько матросиков бросились убирать убитого. Явились носилки, четверо подняли и положили обезглавленное, облитое кровью тело, а двое, понутив головы, тихим мерным шагом понесли его с бастиона. Все сняли шапки и перекрестились.

Убрать или «собрать» мертвого или раненого считалось тогда на всех бастионах богоугодным, святым делом.

– Полюдов! – закричал Струмбинский. – Посылай 5 ядер в 4-пушечную!.. Надо ему, разтак его... ответ дать.

И тотчас же прислуга бросилась к орудиям. Комендор нацеливался. Одно орудие навёл Струмбинский и выстрел за выстрелом, с гулом и дымом, выпустил пять ядер в неприятельскую батарею.

Но не успел замолкнуть последний удар, как бомбы чаще начали пролетать над нами.

– «Марке-лла!» – кричал каждый раз вестовой. И вдруг чуть не по середине бастиона шлепнулась тяжелая трехпудовая масса. Мгновенно все солдатики, матросы все попрятались под разные прикрытия, ускочили в ямки, в норки, и среди общей тишины несколько мгновений громко, злобно шипела роковая трубка.

Затем грянул оглушительный взрыв, от которого задрожали все стенки из земли и фашиннику и во все стороны разлетелись осколки, зарываясь в землю, пронизывая стенки и разрушая туры.

Эти несколько мгновений показались мне целым часом.

Инстинктивно я также бросился и спрятался за столб, на котором стояла икона. Несколько осколков пролетело в двух-трех шагах от меня, но ни один не задел, не контузил меня, и когда я вышел из-за столба, когда все вылезли из своих убежищ, то я почувствовал, как мои руки и ноги дрожат, голова кружится и сердце сильно колотится в груди.

– Эку прорву вырыл, глядите, глядите, господа! – закричал Сафонский. И действительно, почти на самой середине бастиона была вырыта глубокая воронкообразная яма.

– Вишь, осерчал добре! – флегматически заметил низенький, коренастый рыжий матросик-хохол с серебряной серьгой в ухе – Хома Чивиченко.

Помню, тогда на меня налетело странное состояние, близкое к тому, которое охватило меня после смерти Марии Александровны и довело до временного помешательства.

Это была апатия и какой-то злобный, отчаянный индифферентизм. Мне сначала делалось вдруг страшно досадно, зачем у меня дрожат руки и ноги, зачем колотится сердце, зачем я бросился без памяти прятаться за столб? Затем мне захотелось, чтобы это дело разрушения кипело ещё сильнее, убийственнее. Пусть дерутся, бьют, громят, пусть убивают и разбивают всё вдребезги, в осколки... Так и следует, так необходимо в этом злобном, безобразном мире. Крови! Грома! Разрушенья! – больше, больше!!.. «Темный путь! Темное дело!»

И я невольно, дико захохотал.

Помню, поручик Сафонский посмотрел на меня как-то странно, удивленными глазами.

XXIII.

На другой день я переехал с моей батареей на бастион. Я привез в него четыре моих новеньких 5-дюймовых орудия. Мои орудийные молодцы были бравый молодой народ, горевший нетерпением: послать на вражью батарею побольше губительного чугуна и свинца.

И я, помню, им тогда вполне сочувствовал.

На бастионе лейтенант Фараболов уступил мне свою каморку.

– Всё равно, – сказал он, – я три ночи не буду и вы можете располагаться в ней, как вам будет удобнее.

Но в этом-то и был вопрос: как мне будет удобнее?

Дело в том, что почти всю каморку занимала кровать, небольшая, коротенькая, с блинообразным тюфяком, твердым, как камень.

Около кровати помещался стояк, с дощечкой, который заменял ночной столик. Более в каморке ничего не было и ничего не могло быть, так как оставалось только крохотное местечко перед маленькой дверью с окошечком или прорезью в виде бубнового туза.

Каждый, входивший в эту дверцу, был обязав тотчас же садиться на кровать, согнувшись в три погибели...

И всё-таки эта каморка считалась благодетельным комфортом!

По крайней мере я рассчитывал, что выплусь на славу. Но расчёты не оправдались.

Прошедшую ночь я провел без сна. Целую ночь, только стану засыпать, как вдруг, во все стороны, разлетаются кровавые искры, и рыжий, скуластый Чевиченко сентенциозно проворчит:

– Вишь, осерчал добре!

Сердце забьётся, забьётся, – и застучит, зажурчит кровь в висках... И я злюсь, и проклиная, и гоню к чёрту все эти не прощенные галлюцинации.

Почти не уснув ни крошки в четыре часа, с страшною головною болью, я поднялся и начал собираться на бастион.

Благо теперь под рукой были зарядные ящики. Я запасся подушкой и периной, – две бурки, две шинели, – всё это давало надежду устроить постель на славу.

И действительно, она была постлана очень мягко, но только спать на ней было жёстко.

«Он» этот постоянный кошмар, давивший каждого военного во все время севастопольской осады – положительно не дал спать.

– Ровно белены объелся! – говорили солдаты. – И действительно, «он» давал успокоиться не более, как на полчаса, на двадцать минут и вдруг с оника⁶ начинал громить залпами, которые, правда, не приносили нам особенного вреда, но постоянно держали в страхе, на ногах, наготове.

Гранаты целыми букетами огненных шаров взлетали над бастионами и начинали сверху свою убийственную пальбу.

Взрывы ежеминутно раздавались то там, то здесь. Зарево стояло в небе.

– Это он готовит, – говорили солдатики.

– Глядь, братцы. Завтра на баскион кинется.

– Дай-то, Господи!

– Давно ждём. Истомил все кишки проклятый?

– Бьёт, бьёт, что народу переколотил... Страсть!

Всё это говорилось точно у меня, под ухом, в двух шагах от той дверцы, за которой я думал заснуть.

На рассвете я вышел с головною болью, ещё более озлобленный, чем вчера.

XXIV.

Мою батарею поставили на восточную сторону. С этой стороны было менее огня.

«Зачем? – думал я, – почему?! И с этой стороны должен быть хороший огонь. Больше грома! Больше разрушения!!»

– Комендор! – вскричал я высокому красивому солдату. – Стреляй из всех разом!

– Слушаю, Ваше благородие! – И он закричал: – 1-ая, 2-ая, 3-ья, 4-ая, 5-ая пли!!

Оглушительный залп потряс тихий, утренний воздух.

Солдаты снова накатили отскочившие и дымившиеся орудия.

⁶ Оник – это уменьшительное название буквы «он» (о) в старой русской азбуке. Пример использования слова: «оник»: «Отец весьма серьезно смотрел на искусство чистописания и требовал, чтобы к нему прибегали хотя и поздно, но по всем правилам руководством мастера выписывать палки и оники». (Афанасий Фет, «Ранние годы моей жизни»).

А я жалел, что нельзя снова сейчас же зарядить их и послать новую посылку разрушения. За меня эти посылки посылали другие батареи.

— А вы напрасно выпускаете разом все заряды, — сказал подошедший в это время штабс-капитан Шалболкин — надо всегда наготове держать одно или два орудия с картечью.

— А что?

— А то, что не ровен час, Он вдруг полезет. Надо быть готовым встретить Его вблизи.

— Как вблизи?

— Так! Если он полезет на нас, то подпустить на дистанцию и огорошить. Если прямо в штурмовую колонну, то картечь а-яй бьёт здорово! Кучно!

И под этими словами у меня вдруг ясно, отчетливо вырисовалась картина, как бьёт эта картечь, как она врезывается в «пушечное мясо», рвет его в клочки и разбрасывает во все стороны лохмотья. Отлично!

— Вы правы, капитан, я воспользуюсь... — И я выставился за парапет.

Там, в предрассветной мгле, на неприятельских батареях вспыхивали то там, то здесь белые клубочки дыма.

В траншеях шла какая-то возня. О ней можно было только догадываться по буграм земли, которые, словно живые, вырастали в разных местах.

Вокруг меня, мимо ушей, жужжали пули; — я стоял облокотившись на бруствер.

— Ваше благородие! Здесь так невозможно... Здесь сейчас, невзначай пристрелят — предостерегал меня седенький старичок-матросик. Я обернулся к нему и в то же самое мгновение почувствовал, как что-то обожгло мне ту руку, на которую я облокотился.

Я быстро спустился вниз.

Это была та самая рука, в которую я был ранен на Кавказе, в памятную для меня ночь.

Я стиснул зубы от бессильной злобы и невольно подумал: если бы весь этот глупый шар, на котором мы живём, вдруг лопнул, как бомба, и все осколки его разлетелись бы в пространстве этого глупого, безучастного неба.

Из руки сильно текла кровь и от этого кровопускания голове стало легче.

— Вам надо сейчас в перевязочный барак, — сказал мне штабс-капитан, перевязывая мне руку платком. — Новая рана вблизи старой. Может быть нехорошо... Пожалуй руку отрежут.

Я ничего не ответил. Молча ушел и залёг в свою каморку. И под громы выстрелов — заснул, как убитый, и проспал до полудня, несмотря на все старания товарищей разбудить меня.

XXV.

На другой день рука моя сильно распухла и меня отправили в город. Рана была сквозная, на-вылет, в мякоть, но тем не менее я должен был пробыть, по поводу лихорадочного состояния, дня три или четыре в лазарете.

— Счастливи ещё отделались, — рассуждал доктор, — на пол-мизинца полее, так и руку прочь!

— Мало ли что могло быть, если бы на пол-мизинца полее или поправее... «Тёмное дело!..»

Помню, я выписался вечером и пошел в ресторан, к Томасу.

В это время даже на бульваре, — около Дворянского собрания, превращенного в госпиталь, — было опасно.

Город совсем опустел, всё население как будто превратилось в военных, которые попадались угрюмые и озабоченные в одиночку или группами.

У Томаса я нашёл, впрочем, довольно оживлённый кружок. Из наших там был Локутников — красивый, ловкий брюнет, который о чем-то спорил с двумя гвардейцами.

Я подошел к ним и он нас представил. Это были поручики Гутовский и Гигинов.

– Вот скажите, – обратился ко мне Локутников, – они спорят, что севастопольская осада ничуть не отличается от других.

– Нет, отличие есть, но небольшое, – сказал Гутовский.

– Помилуйте, такого ожесточения, упорства, я полагаю, не видела ни одна осада в мире. Здесь каждый шаг берётся кровью и закладывается чугуном. Где видано, чтобы апроши были так близки?..

В это время к нам подошел небольшой худощавый блондин в белой фуражке, – молоденький офицерик, с едва заметными усиками и баками.

– А, граф! – вскричал Гутовский. – Садитесь! Что вас давно не видно?

И все поздоровались с графом и отрекомендовали меня. Это был граф Тоцкий, весьма популярный в Севастополе. Его солдатские песни ходили по рукам и распевались чуть не на всех батареях.

– Вот, граф, – г. Локутников утверждает, что севастопольская осада – это нечто особенное, небывалое в истории войны.

– Что же? Я не скажу, чтобы это была неправда. Каждая осада имеет свою индивидуальную особенность. Только здесь, как и во всякой военной операции много случайного, непредвиденного.

– Много тёмного, – пояснил я.

– Как тёмного?

– Так, неизвестного ни нам, ни вождям, ни тому, кто начал осаду, ни тому, кто кончит её...

– Бы правы, вы совершенно правы, – вскричал граф и уставил прямо на меня свои серые, блестящие, умные глаза.

XXVI.

Разговор на эту тему продолжался у нас довольно долго. И граф также пришел к тому заключению, что все творится, как неведомое, неизвестное нам «тёмное дело».

– Только здесь – сказал я, – мне кажется, строго должно отличить то, что мы знаем от того, что мы не знаем и никогда не будем знать. Если бы мы знали то, что в нашей власти знать, то многое уже из «тёмного пути» для нас стало бы ясным...

И я рассказал как в этом случае поступают жидаы – рассказал о том, что я слышал на жидовском шабаше в П.

– Если бы в наших руках были данные для выводов, то многое мы могли бы рассчитать и предсказать, – сказал я.

– Да! Но я утверждаю, что именно есть вещи, которые нельзя ни рассчитать, ни предсказать.

В это время с шумом вошло четверо офицеров и с ними дама – молоденькая, высокая, стройная, в широком черном бурнuse с плерезами.

Она вошла первая. Прямо, самоуверенно подошла она к небольшому столику и шумно села на стул, гордо откинув полу своего бурнуса.

Я помню, что прежде всего, меня поразила эта самоуверенность, почти резкость движения, но ещё более поразило меня выражение её глаз, – её черных больших глаз, которые гордо, презрительно оглянули всех нас.

Этот взгляд мерещится мне и до сих пор, как только я закрою глаза. И странное дело! Я помню, в тот вечер я боялся этого взгляда, боялся, чтобы он не остановился на мне.

Если бы я был художником и мне необходимо было рисовать медузу, то я не мог бы вообразить ближе, подходящее модели.

Это была резкая, поражающая красота, которая овладевает человеком сразу, как чарующий змей и он делается на веки рабом её. И этих рабов было довольно много вокруг неё. Они, очевидно, ловили её желания, её взгляды, как ловят рабы взгляды, желания их царицы. Можно было даже видеть, как борется их человеческое достоинство или просто светское приличие, с унижительною, заискивающею покорностью...

– Кто это? – спросил я шёпотом у соседа.

– Это княжна Барятинская – ответил мне он, также шёпотом, не отрывая глаз от неё, как от притягивающего магнита.

XXVII.

– А! Граф! Идите сюда! Что вы прячетесь?! – закричала она звучным, нежным контральто.

И граф также покорно вскочил и быстро пошел к ней.

– Куда вы пропали или влюблены? В кого?

– В кого же я могу быть влюблён, кроме вас, – заговорил граф. – Ведь вы – царица красоты.

– Вздор! В цариц не влюбляются! Выдумайте что-нибудь поновее, не такое банальное. Вам стыдно! А кто это с вами?

– Это мои знакомые, приятели...

– Приведите их всех сюда. Messieurs!⁷ – обратилась она к сидевшим вокруг неё. – Я хочу, чтобы наше общество увеличилось. Терпеть не могу мизантропов, эрмитов и солитеров.⁸

И прежде чем она dokonчила, двое из кружка вскочили и побежали к нашему кружку. И он почти весь тотчас же поднялся и пошел вслед за этими посланными.

Один я остался.

– Княжна Барятинская желает с вами познакомиться и приглашает вас в её кружок, – говорил мне посланный, низко кланяясь.

– Но я этого не желаю!.. – резко сказал я и обратился к моему прерванному чаю.

Посланный отретировался.

Я кончил чай, хотел встать и уйти, но княжна вдруг взглянула на меня, затем порывисто поднялась со стула и быстро, решительно подошла ко мне.

Мне кажется, я и теперь вижу её, как она стремительно приближается; как звенят и бряцают серебряная и чугунная цепи-браслеты на её руках.

– Послушайте! – закричала она резко, с досадой. – Зачем вы хотите оригинальничать? Мы желаем быть вместе и пить чай общим кружком... Ведь мы все здесь братья!.. Севастопольские братья крови, свинца и чугуна... Отчего же вы не хотите?..

– Княжна!.. Я не желал-бы...

– Полноте! Идёмте, идёмте!..

И она бросила на меня такой пронизывающий взгляд, который, казалось, доходил до глубины души. И притом это был взгляд черных, как уголь, необыкновенно блестящих, жгучих глаз. Она вся, вся её фигура была как бы одно повелительное, волнующееся стремление.

Ноздри её тонкого носа дрожали и раздувались. Дрожали её алые, резко очерченные губы и вся волновалась её высокая, стройная грудь.

Я молча, покорно пошёл за нею, как школьник, поддерживая правой рукой чёрную повязку, на которой была подвешена моя левая рука.

⁷ Господа! (фр.).

⁸ Мизантроп – человеконенавистник; эрмит – отшельник; солитёр (от фр. le solitaire – одинокий) – одиночка.

Княжна указала мне стул подле себя – и быстро назвала четырех своих спутников поочередно, указывая на них пальцем.

Мы составили довольно большой кружок, для которого пришлось сдвинуть два стола вместе.

– Граф говорил мне, – начала княжна, когда мы уселись, – что вы умный человек...

– Я желал бы быть им...

– Пойдите!.. Здесь мало умных людей, но много самолюбивых... и я первая между ними. Самолюбие заставило меня быть здесь, в Севастополе, одной между военных... Здесь теперь идёт такая война, в которой может быть и женщина... Здесь не нужно физической силы. Её заменяет сила пороха...

– Пока, княжна... Но если начнётся рукопашная, – перебил её Локутников, который сидел близко к ней.

– Пойдите, – и она быстро дотронулась до его руки. – В рукопашную я не пойду!.. Рубиться саблями, колоть штыками!.. Фи! *C'est par trop cynique!*⁹ Нет! С меня довольно, слишком довольно работы свинцом и чугуном... С меня довольно видеть, как люди хладнокровно и мужественно истребляют друг друга... Я на пиру. Кровь опьяняет!..

И она взглянула на меня своим гордо презрительным взглядом, но в этом взгляде мне показалось что-то страшное, кроважидное.

«Точно вампир!» – подумал я.

XXVIII.

– Княжна!.. – сказал я, – бравоирование опасностью иногда дело хорошее... Но циничское отношение к такому делу как севастопольское... мне кажется... оригинально, но... неправильно.

– Ха! ха! ха! – захохотала она резким, как мне показалось, деланным смехом. – Что же? По-вашему, надо плакать, глядя на эту бойню! Сокрушаться о человечестве и жертвах рока?.. Их так много!.. Ха! ха! ха! ха!..

И в её смехе зазвучали слезы, истерический плач.

Гигинов, который сидел подле меня, наступил мне на ногу и мигнул мне многозначительно.

– Нет! Пусть больше крови, разрушения, истребления... Пусть везде пирует смерть и скорее настанет её покой.

Я смотрел на неё с недоумением. Мне странно казалось, что то, что она высказывала теперь, было моим настроением ещё вчера. Ещё вчера вечером я жаждал этого истребления, грома, крови... Что это?! Влияние ли обстановки?!

– Княжна! – сказал я, – мне кажется, вы забываете причину, из-за которой ведётся это упорное истребление. И я думаю, вы не бросите камня в эту причину... Что может быть выше и чище, как привязанность к родине, к отчизне и защита её?!

Княжна взглянула на меня насмешливо и ничего не ответила.

Граф ответил за неё.

– Неужели вы думаете, – спросил он насмешливо, – что здесь играет роль патриотизм?!.. Зачем, например, вы переехали в Севастополь? Ведь вы были на Кавказе?

– Я, именно, затем приехал, чтобы защищать Севастополь и мою родину.

– Ну! Блаженны вы, в вашем идеализме; а мы вот, я думаю, все собрались здесь за другим. Здесь быстро производят в следующий чин или вчистую, на «тот берег». А там вас

⁹ Это слишком цинично! (*фр.*).

встречают очень милостиво, по правилу: «Нет более сей любви, аще кто положит живот свой за други своя»... Ведь это очень практично... Как вы думаете?

Я чувствовал, что все смотрели на меня вопросительно.

И я, помню, подумал тогда: «Зачем же я расставался с моей дорогой Леной? Зачем она покинула меня? Когда здесь, у очага войны, нет того настроения, которое одушевляло её там, таким чистым и, казалось мне, святым огнём?».

— Здесь, ради отчизны, дерутся только солдаты и бурбоны, — проговорил басом артиллерийский полковник, высокий, плотный господин с большими черными усами и густыми, нависшими бровями.

— Нет! Зачем же? Найдутся многие, — сказал граф, — но у солдат скорее стремление просто удовлетворить потребность драки...

— Как у петухов. Жажда боя, крови! — подхватила оживлённо княжна и опять в её глазах мелькнула какая-то страстная искорка.

XXIX.

Мы засиделись у Томаса, ужинали и разошлись во втором часу.

Помню, княжна предлагала тосты, один эксцентричнее другого.

— За взрыв бастионов — и Севастополя! Ура!

— За барачный тиф и его союзника!

— За ту Севастопольскую бомбу, которая убила больше всех других!

Помню ещё (и, вероятно, никогда не забуду), как она, под конец ужина, облокотившись на стол и держа в одной руке бокал, уставила прямо на меня свои черные, блестящие глаза.

— В презренном мире всё кружится, — говорила она таинственным полушёпотом, выпивая маленькими глоточками шампанское: — ночь и день, лето и зима, жизнь и смерть, творение и разрушение... и горе дураку, который поверит или сам подумает, что здесь есть место наслаждению... Здесь есть место... только опьянению и фейерверку!

Помню, когда мы вышли из ресторана то как-то страшно, зловеще, среди серого, раннего, тихого утра, неслись по небу бесконечные огненные дуги и гудел несмолкаемый гром...

«Точно фейерверк! — подумал я. — Фейерверк человечности!»

— Послушайте — сказал я Гутовскому, когда мы, расставшись с компанией, остались одни. — Кто это?! Эта госпожа!? Это какая-то сумасшедшая, безумная.

— Да!.. Немножко того... Ведь у неё здесь убили жениха — князя Б... И с этого самого случая она и... того... — повредила. Просили у Государя разрешения оставить её здесь. Думают: хуже будет, если увезти.

Я пошел к себе на квартиру, к моей матроске Аграфене Степановне. Мой денщик, Игнат, сидел у порога квартиры, уткнув голову в колени, и храпел на весь Севастополь. Я с трудом разбудил его и улегся спать.

Но заснуть мне не удалось до семи часов утра.

Винные пары в голове, болезненное состояние от незажившей ещё раны, оживлённый разговор, а главное она... она... этот вампир со жгучими, чёрными глазами!

Я не мог закрыть глаз, чтобы не увидеть этих огненных, казалось мне, нечеловечьих, больших глаз, которые смотрели, не мигая, прямо мне в сердце. И чем дольше они смотрели, тем невыносимее становилось этому сердцу. Оно болезненно наслаждалось и ныло. Да! Это было то сладострастное наслаждение, с которым человек мучит другого, радуется слезам, стонам женщины, которой он овладевает. Это наслаждение убийц, мучащих свою жертву, извергов, радующихся терзаниям, её крови...

К утру этот кошмар сделался невыносим. Сердце болезненно билось, в висках стучало. Я стонал, метался и не мог от него освободиться.

Мне казалось, что она лежала на моей груди как страшная, черная тяжесть... Она сосала мою кровь... Чем?.. я не знал, но мне казалось, что-то алое, как её губы, прилипало к моему сердцу, а её ужасные, жгучие глаза смотрели, не мигая, прямо в мои и не давали мне пошевелиться ни одним суставом...

Я дико вскрикивал и просыпался затем, чтобы через несколько мгновений снова подвергнуться тому же невыносимо тяжелому, страшному состоянию.

XXX.

Для меня всего ужаснее было то, что состояние это не прошло вместе со сном. Нет, мне стоило закрыть глаза, чтобы я снова почувствовал в сердце наплыв этого томительно тяжелого чувства.

Я очень хорошо понимаю, что это опять была своего рода психическая болезнь, своего рода нервное расстройство и притом, вероятно, в области нервов сердца.

Помню, я долго анализировал тогда это чувство и пришел к заключению что весь мой организм и преимущественно нервы были расстроены с самой смерти моей матери, с этого страшного потрясения, которое, как молотом, ударило по всему организму.

Моя впечатлительность, мой обморок – в то время, когда я был спрятан за драпировкой в спальне Сары, – моя болезнь, моё помешательство, наконец, теперешнее болезненное состояние – всё это берёт начало оттуда, от этого первого и главного нервного расстройства.

Когда я вернулся на бастион, то поручик Тютюрин, увидев меня, всплеснул руками.

– Что это, как вы переменялись! – вскричал он.

– А что?

– Бледно-зелёный, худой... и глаза!..

И действительно, когда я посмотрел после в зеркало, то сам удивился этим глазам. Большие, блестящие, прыгающие, как у сумасшедшего.

И таким я оставался всё время, проведенное мною в Севастополе.

Если бы я мог верить в «силу глаза», то я подумал бы, что меня «сглазили». – И эти черные, огненные глаза с тех пор не давали мне покоя ни минуты.

Я должен был вставать в шесть часов, не позднее, для того, чтобы эти глаза не являлись мне во сне и вместе с ними черная масса не налегала бы на сердце. Если я задумывался и случайно закрывал глаза, то мгновенно передо мной являлось это лицо медузы и опять эти жгучие, адские глаза вонзались мне прямо в сердце.

Это не была любовь! Нет! По крайней мере, я не чувствовал страстного влечения к любимому предмету, которое придаёт прелесть и сладость самой безнадежной любви. Нет, я боялся этих глаз, этого повелительного и строгого лица, и вместе с тем чувствовал, что не могу от него избавиться. Это была новая, психическая, мучительная болезнь.

– От неё, милый друг, не мало здесь произошло сухоты! – рассказывал мне поручик Тютюрин, когда я передал ему впечатления вчерашнего вечера у Томаса. – Да и теперь ещё многие вздыхают и томятся. Это, милый друг, чёрт-девка. Она тебя околдует, как ведьма. Я сам целую неделю ходил от неё с ума.

– Каким же образом вы от этого избавились?

– А вот!.. – И он быстро расстегнул мундир и вынул большой, золотой крест. Затем перекрестился и поцеловал его. – Вот! Сила креста Господня помогла.

Я посмотрел на него с недоумением и невольно улыбнулся.

XXXI.

Он, вероятно, подметил эту улыбку.

– Здесь, друг милый, – сказал он внушительно, – всему будешь верить и обо всем молиться. – И он спрятал крест, застегнул мундир и обернулся.

Я смотрел на его юное, моложавое, симпатичное лицо, с большими ясными, голубыми глазами и с маленькими русыми усиками. Оно напоминало мне моё лицо, когда я только что окончил курс и был совсем юн и наивен. Оно напоминало мне мой мистицизм и мои жаркие молитвы в деревне, где я жил вольным затворником, после убийства моей матери.

– Другие иначе кончали. Не так! – сказал Тудорин. – Вот князь Коханский... чай, слышали?

– Нет.

– Застрелился... А поручик Чеграев?... Ах, что за душа был человек! Такой добрый, милый... весёлый... Как увидел её, поговорила она с ним, поглядела на него своими глазницами, и точно человек в воду опустился. Где она, там и он. Маялся, маялся и, наконец, не выдержал. Восемнадцатого июня, когда из траншеи шла отчаянная штуцерная жарня выставился за парашют. Мы ему говорим: что, мол, делаешь!? А он махнул рукой. Прощайте, говорит, братцы, надоело жить!.. Сперва ударило здесь. (Он показал на ключицу). Потом другая угодила в горло навывлет. Он нагнулся, хотел отхаркнуть кровь... в это время третья... прямо в висок и капут.

– Что это? Он рассказывает вам про княжну? – спросил подошедший в это время Сафонский. – Да, батенька, это, я скажу вам, легендарная девка... О ней поверьте, сложатся легенды в армии. Эдакий дьявол!.. И зачем держат её здесь? Наш брат бежит за ней, как, прости Господи, добрый коб....

Я рассказал им, как на меня подействовала встреча с ней.

– Смотрите, голубчик, берегитесь! – предостерегал Тудорин. – Ни за грош пропадёте.

– Я тоже думаю поостеречься.

Но я только думал поостеречься. На самом деле, это было положительно невозможно.

«Легендарная девка» мерещилась мне и во сне, и наяву, не смотря на все мои старания не думать о ней. И что всего было опаснее: мне хотелось её исправить, переделать. Хотелось увидеть совсем в другом виде. Разумеется, внутренне, а наружность должна была остаться такую же, только в глазах больше мягкости, любви, человечности.

И я не чувствовал, как незаметно её образ в моих мечтах преображался и становился привлекательным и милым.

Что-нибудь отрывало меня от этих мечтаний или планов, и я злился на себя, что не могу уследить, как незаметно, крадучись они овладевают моей головой.

Я не понимал тогда, что они шли прямо из сердца.

XXXII.

Прошло несколько дней, очень бурных. Целые дни неприятель не давал нам ни отдыха, ни покоя. Раз, поздно вечером, усталый, я дремал, прислонясь к брустверу и опустив голову на колени. Ко мне подошел один из моих батарейных солдатиков.

– Ваше-бродие! Вас спрашивают.

– Кто спрашивает?.. – вскричал я и вскочил на ноги. И странное дело! Вся моя усталость соскочила в один миг, и в глубине сердца ясно послышалось: это она!..

Я быстро пошел к выходу. На пути встретился Тудорин.

– Смотрите, голубчик, берегитесь!.. Ни за грош пропадете.

Краска бросилась мне в лицо.

«Какое право имеет этот мальчик заботиться обо мне?!», – подумал я.

Как будто это право не принадлежит товарищу, да, наконец, каждому доброму человеку!

В нескольких шагах от бастиона, в темноте вечера, неопределённо рисовались две конные фигуры, а у самого входа стоял чей-то денщик и держал в поводу две лошади.

Из двух фигур одна была женская, и я узнал её, узнал не глазами, а скорее каким-то внутренним чувством, в котором были смешаны радость и страх.

Она ловко сидела на вороной лошади и была закутана в длинный черный плащ, который свешивался вниз в виде амазонки. На голове у неё была низенькая черная шляпа с широкими полями и петушиными перьями, *a la bersalliere*.¹⁰

С ней был какой-то офицер в белой фуражке, лицо которого нельзя было рассмотреть в темноте вечера.

Я подошел к ним и поклонился.

– Садитесь! Вот вам лошадь. Едем!

– Куда, княжна?..

– В гости к французам.

– Княжна! – вскричал я – это сумасбродство!

– Вы боитесь?!.. Господи!.. Вот уже шестой отказывается.

И она всплеснула руками.

– Я ничего не боюсь, княжна... Но рисковать из-за пустяков.

Она резко повернула ко мне лошадь.

– Вам дорога жизнь?.. Вы боитесь потерять эту драгоценность?

– Нет, но я рискую потерять место. Меня разжалуют в солдаты, а я уже горьким опытом...

– Хорошо! Вы не едете? Прощайте! Нам некогда. – И она тронула поводья.

– Пойдите, княжна! – вскричал я. – Одну минуту. Я сейчас распоряжусь и явлюсь к вам.

– Хорошо!

Я почти бегом бросился в бастион и прямо обратился к Сафонскому.

– У меня до вас большая просьба.

– Какая?

– Мне крайне необходимо сию минуту ехать. Замените меня...

Он посмотрел на меня, широко раскрыв глаза «пожал плечами и сказал:

– Хорошо!

XXXIII.

Когда я скакал подле неё, в темноте вечера, когда холодный воздух дул мне в лицо, а пули с визгом проносились мимо ушей, я был похож на школьника, вырвавшегося из душной классной комнаты. Мне было и жутко, и весело.

Давно ли, казалось, я был мёртв ко всему, давно ли я был анахоретом, аскетом, и вот первая волна снова сняла меня с угрюмого, дикого утеса и понесла... Куда?!...

Впрочем, тогда я не рассуждал об этом. Я был опьянён, доволен... Так бывает доволен пьяница, после долгого воздержания, очутившийся в весёлом кругу, за бутылкой доброго вина.

¹⁰ По-берсальерски. Берсальеры (итал. Bersaglieri, от bersaglio – «мишень») – стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высококомбинированные пехотные части.

Чем ближе мы подъезжали к неприятельской линии, тем чаще и ближе стали пролетать пули мимо ушей. Одна пуля перерезала с одной стороны повод у моей лошади. Я невольно сделал полоборота.

– Не останавливайтесь! Скачите! Или вас убьют! – вскричала она и быстро хлопнула хлыстом мою лошадь.

Мы снова понеслись.

– Князь! – вскричала она на скаку, обращаясь к нашему спутнику в белой фуражке – Навяжите белый платок на вашу саблю и поднимите её кверху. Иначе мы не доедем до цели.

Князь на скаку очень ловко завязал платок и подняв кверху quasi-парламентерский флаг, начал отчаянно махать им.

Пули как будто реже стали летать, или мне это только так казалось.

Несколько десятков шагов отделяло нас от передовых траншей. Она с ожесточением хлестала свою и без того горячую лошадь, и мы неслись, как ветер, к неприятельской траншее. Мы уже различали в ней огни. Слышали говор солдат. Вдруг перед нами, словно из земли, выскочило штук пять берсальеров и один взмахнул карабином перед лошадью княжны. Лошадь взвилась на дыбы. Мы остановили своих лошадей.

– Кто идёт? – закричал берсальер, и курок его карабина громко щелкнул. Другие нацелились в нас.

– Amici! Друзья! – проговорила княгиня. – Где офицер? Ведите нас к офицеру.

Берсальеры поговорили вполголоса, и один из них отправился вперёд и пропал в темноте вечера. Мы стояли и ждали.

Через несколько минут вдали показались трое офицеров-итальянцев. Они громко говорили и размахивали руками.

– Que cosa! – закричал один из них, подходя к нам, и я слышал, как он взвёл курки у пистолета.

Князь выдвинулся вперёд со своим импровизированным парламентерским флагом и заговорил с ним бойко по итальянски.

– Русская княжна, – говорил он, – пожелала сделать визит вашему лагерю.

Его перебила княжна.

– И выпить за здоровье храбрых сынов Италии. E viva Italia una!

– Bravo! – закричал один.

– Una bravada, – сказал другой.

– Comtessa, – сказал первый, окликнувший нас. – Военные законы очень строги. Мы не иначе можем принять вас, как под известными условиями.

– Какими?

– Вы оставите здесь ваших лошадей и позволите завязать глаза вам и вашим спутникам.

– Хорошо!

– Затем вы и ваши спутники дадут честное слово, что они не будут замечать ничего на наших позициях.

– Разве мы шпионы?! – вскричала княжна.

– Comtessa! Простите!.. Но это требование войны.

– Хорошо! Я даю честное слово.

– А синьоры? – обратился он к нам.

– Я тоже даю, – сказал князь и крепко пожал протянутую ему руку.

– И я также, – сказал я, пожимая его руку.

– В таком случае позвольте только завязать вам глаза.

Мы сошли с лошадей и отдали их на попечение нашему денщику и окружавшим нас солдатам. Нам всем троим завязали глаза нашими платками. Первый, встретивший нас,

высокий, стройный итальянец, предложил руку княжне. Два других взяли нас под руки и мы отправились.

XXXIV.

Мы поднимались, опускались, всходили на горки, на лесенки, наконец, спутники наши остановились и попросили нас снять наши повязки.

– Просим извинения, – сказал высокий итальянец. – Мы принимаем вас по-походному, на биваках. Но вы сами этого захотели.

Мы были в палатке довольно просторной, из полосатого тикю. Но собственно палатки здесь не было. Это было вырытое в полу-горе помещёние, убранное тиком.

Прекрасная мебель, простая, но очень удобная и очевидно складная, была расположена вокруг стола, накрытого чистой узорчатой скатертью. По углам стояло три кровати, очевидно также складных, покрытых красивыми, бархатными одеялами. Перед каждой кроватью был низенький столик, а на полу лежал хорошенький коврик. На столе ярко горел карсель¹¹.

«Какая разница, – невольно подумал я, – с конурами в наших бастионах, с тем убогим помещением, в котором мне привелось провести ночь».

– Я удивляюсь, – сказал князь по-французски, – тому комфорту, с которым вы устроились. И неужели бомбы и ядра вас не тревожат здесь?

– О Signore! Ваши бомбы и ядра нам не могут вредить. Над нами более четырех сажен земли. Мы под землёй (И он притопнул ногой по земле, на которой была разостлана прекрасная узорчатая циновка). Что касается до комфорта, то не взыщите, какой есть. А la guerre, comme a la guerre!¹² – Вот у англичан там действительный комфорт...

Другой офицер, низенький, красивый брюнет, не спускал глаз с княжны. Он шурился, впивался в неё своими черными, бархатными глазами и невольно потуплял их перед жгучим, немигающим взглядом княжны.

Третий офицер позвал денщика и что-то тихо распорядился.

Через четверть часа нам принесли целый десерт из груш, фиг, апельсинов, фиников, принесли засахаренные фрукты, принесли бокалы и шампанское.

Высокий signor принялся угощать нас и хозяйничать.

– Signor! – сказал князь. – Позвольте мне вписать ваши имена в записную книжку (и он вынул и раскрыл её). На случай нашей вторичной встречи, при более мирных условиях.

– Мы вам дадим лучше наши карточки.

И мы обменялись нашими визитными карточками.

На картах итальянцев стояли имена:

Paolo Cantini, Antonio Sphorza и Juseppo Malti.

На карточке князя, которую положил передо мной мой сосед, было награвировано крупным шрифтом:

Le prince Michel Lobkoff-Krassowsky, aide de camps de S. A. I. le grand
D...

¹¹ Карсель я, м. Carcel. – Старинная лампа с насосом, нагнетавшим помощью часового механизма масло из резервуара к светильне.

¹² На войне, как на войне (*фр.*).

XXXV.

Итальянцы угощали нас на славу. Мы выпили за *'Italia una*, за благоденствие Милана, за взятие Рима, за всех красавиц, за здоровье княжны, *una bellissima principessa di tutti*, за здоровье всех русских княжон, за здоровье всех и каждого.

Прошло уже более часа. Мы говорили по-итальянски, по-французски, по-русски, говорили все в один голос, кричали и смеялись.

Signor Sphorza становился все более и более любезным. Его глаза искрились и лоснились. В его голосе зазвучала страстная нотка. Он целовал два или три раза ручку княжны. Наконец, он схватил эту руку и уже не выпускал её из своей. Он что-то шептал княжне на ухо, о чем-то молил.

Я видел, как глаза княжны померкли и она страшно побледнела. Затем я видел, как Сфорца обхватил её талию, но затем произошло что-то, о чем я не могу дать ясного отчёта.

Брякнул выстрел и Сфорца упал. Мы все вскочили и все видели, как одно мгновение княжна стояла над ним с протянутым маленьким пистолетом в руке. Но это было только одно мгновение.

Все лицо её быстро изменилось; кровь прилила к нему, слезы заблестели на глазах. Она отбросила пистолет, упала на колени перед телом Сфорца, обняла его и голосом, в котором звучали слезы и рыдания, звучным, страстным голосом проговорила.

– О Mio caro! Mio amore! Tanto dolore, tanto soffrire! (О! Мой дорогой! Моя любовь! Столько горя! Столько страдания!)

И она поцеловала его.

Затем в следующее мгновение, она вскочила и, обхватив голову руками, захохотала громко, дико, неистово, и я чувствовал, как от этого страшного хохота хмель оставил мою голову и мороз побежал по спине.

Мы втроём бросились к ней: я, Cantini и князь. Мы облили холодной водой её голову, вывели из палатки на сырой, холодный, подземный воздух и она как будто очнулась. Несколько времени она сжимала лоб и виски руками и потом вдруг проговорила.

– Пора, едемте! – и быстро двинулась.

– Княжна! – вскричал князь, останавливая её – так нельзя. Нам надо завязать глаза.

– Да! да! завязать глаза... Когда расстреливают, то всегда завязывают глаза... Я это забыла.

В это время Malti вышел из палатки и на вопрос Cantini, быстро, отрывисто ответил:

– Уже умер!

Кантини обратился к князю.

– Нам очень неприятно, – сказал он, – что этот трагический случай... расстроил... Но мы не смеем вас долее удерживать. Принимая женщину (добавил он вполголоса) в лагере, во время войны, мы многим рискуем... Наши законы строги, очень строги...

И нам опять завязали глаза и повели. Только теперь Malti вёл меня и князя и я чувствовал, как рука итальянца дрожала в моей руке.

Голова моя горела. Мне казалось, что мы тотчас же дошли до наших лошадей и нам развязали глаза.

Кантини очень любезно простился с нами, а Мальти молча пожал нам руки, и я опять почувствовал, как дрожала его рука, сжимая мою руку.

Мы сели на лошадей. Княжна пустила лошадь во весь карьер и мы понеслись.

– Тише, княжна! Тише! – кричал князь. – Можно сломать шею. Ни зги не видно...

Но она неслась, как бешеная.

XXXVI.

Мы скакали по довольно ровной местности, скакали, освещённые красноватым огнём какого-то зарева. Было почти полное затишье и вдруг среди этой тишины, где-то далеко, хлопнул выстрел и князь стремглав слетел с лошади.

Мы с трудом удержали наших лошадей. Лошадь князя унеслась вперёд.

Он лежал на земле без движения. Мы подбежали к нему и денщик быстро открыл потайной фонарик.

Слабый, красноватый свет его осветил кровь, которая тихо струилась из груди князя: рана была против сердца... Он был убит. Сомнений не могло быть.

Я взглянул на княжну. На её бледном лице снова появилось то странное выражение, с которым она обратилась к убитому Сфорца, и вдруг она, ломая руки, обняла труп князя, припала к нему и я снова услышал тот же сильный мелодичный голос, в котором дрожали слезы, и те же самые слова:

– O! mio caro, mio amore! Tanto dolore, tanto soffrire!

И снова зазвучал тот же неистовый отчаянный хохот, от которого холод охватывает сердце. Я схватил её за руки, но она быстро, с нечеловеческой силой, оттолкнула меня и в одно мгновение вскочила на лошадь и исчезла в темноте ночи. Мы только слышали, как в отдалении зазвучал её звонкий, неистовый смех.

В следующее мгновение я бросился за ней, но хохот замолк. Страшная тьма окружила меня со всех сторон. Я оступился и упал на землю.

Почти в то же самое мгновение в ближней неприятельской траншее загремел перекатный штучерный огонь. И почти вслед за ним грянули огнём и наши батареи.

Всё пространство, как бы по мановению волшебного жезла, ярко осветилось злоеющим, красноватым светом, и в стороне от меня, не более, казалось мне, в шагах десяти, двадцати раздался резкий, захватывающий крик русского «ура!»

Не успел я опомниться и сообразить, что это такое, как мимо меня промелькнуло несколько рядов солдат, которые бежали, спешили с ружьями на перевес. Офицеры с саблями наголо также бежали, что-то громко крича, и размахивали саблями, который блестели от огней выстрелов.

Я также выхватил саблю и бросился вслед за этими колоннами.

На одно мгновение в моей отуманенной голове промелькнули все события этого вечера или ночи, и я чувствовала только одну непреодолимую потребность – драться вместе с своими, бить, колоть, защищать своих и погибнуть, вместе с ними.

Помню, я старался не отставать от колонны, но пороховой дым со всей его сернистой вонью лез в горло, ссохшееся от быстрого бегу. Я задыхался. Пот в три ручья лил с меня.

Навстречу мне попался солдатик, который бежал с какой-то высоты.

– Куда!? – вскричал я, схватив его за шинель...

– Ложементы!..¹³ Ваше-бродие. Прет здорово!.. Не фатат...

Я так же бессознательно отпустил, как и схватил его и, собрав последние силы, бросился на высоту.

¹³ Ложементом в XIX веке именовали первые стрелковые окопы в виде стрелковых рвов для стрельбы лёжа или с колена. Впервые ложементы получили своё развитие во время обороны Севастополя в 1854-1855 гг. по инициативе Тотлебена. Это понятие применялось в то время также в отношении окопов для отдельных орудий – их называли орудийными ложементами.

XXXVII.

Перепрыгивая через тела убитых и раненых, я, кажется, не бежал, а шел, изнемогая и шатаясь. На встречу мне, с возвышения, медленно отступая и поминутно отстреливаясь, шла горстка солдат. Некоторые из них были с нашего бастиона и узнали меня. Высокий, рыжий Синдюхин, с лицом, опалённым и закопчённым порохом, с радостью бросился ко мне.

– Ваше-бродие... ведите нас!.. всех командиров перебили!.. Просто смерть!

И вдруг в это самое мгновение я почувствовал неизвестно откуда налетевший прилив бодрости и силы. Я кое-как собрал, установил в колонну эту растерзанную толпу и велел барабанщикам бить наступление, а сам бодро встал впереди и закричал, насколько мог сильно.

– Идём, братцы! Вперёд! – И не оглядываясь, бойко двинулся вперёд, при громе выстрелов и мигающем их свете.

Войдя на возвышение, я увидел, в нескольких десятках шагах от себя чернеющий бруствер нашего ложемент, с наваленными на нем турами и мешками, и только что наша колонна выдвинулась из-за бруствера, как в одно мгновение весь он вспыхнул огоньками и затем весь скрылся за дымом. Но эти огоньки, хоть на одно мгновение, осветили кепи и эспаньолки французских *chasseurs de Yaincenne*, склонившихся над ружьями и стрелявших в нас.

Вслед за залпом я видел, только как вокруг меня, из моего строя, попадали солдатики. С отчаянной решимостью я кинулся вперёд с криком:

– За мной молодцы; за Русь-матушку. Ура!

– Урррра! – подхватили молодцы и, не знаю, как, в одно мгновение, я очутился в ложементе.

Кругом меня закипела какая-то отчаянная возня. Стучали и звенели штыки и приклады. Раздавались крики, стоны, брань. Какой-то французский офицер подскочил прямо ко мне и уставил на меня пистолет, но в то же мгновение солдатик, что работал подле меня, ударил его штыком в грудь и он упал.

Мне кажется, я никогда не забуду, как он схватился за штык, закричал, с каким-то злобным хрипом, и уставил прямо на меня остолбенелые, широко раскрытые глаза. Этот страшный, отчаянный взгляд преследует меня и до сих пор, а ужасные глаза нередко мерещатся мне в темноте ночи.

Я бросился в сторону. С ожесточением, не помня себя, я рубил направо и налево.

Помню, несколько раз сабля моя звенела, сталкивалась с французским ружьем; несколько раз что-то горячее брызгало мне в глаза,

Я опомнился в руках у моих солдат, которые громко говорили мне, что всё кончено, неприятель выгнан, отступил. Я не вдруг понял, что мне говорят и кто мне говорит. Наконец рассудок вернулся и я принялся за дело.

Тотчас же я отрядил двух из моих людей в ближайший пункт за подкреплением; но не успели они выйти из ложемент, как подкрепление явилось.

Шинель моя была пробита в пяти местах; на ноге царапина и лёгкая контузия.

XXXVIII.

Я счастливо отделался и счастливо добрался до нашего бастиона. Там ещё не спали и все ждали, чем кончится ночная возня. Все набросились на меня с расспросами. Но я едва двигался. В горле у меня пересохло. Я спросил вина, выпил залпом чуть не бутылку какой-то бурды и завалился спать.

На другой день помню как теперь, день был ясный, жаркий. Французы лениво перестреливались с нами. Я проснулся поздно и выглянул из своей конурки на свет Божий. Все наши бастионные над чем-то возились, громко говорили и хохотали.

– На стол-то подсыпь, на стол! – говорил Сафонский и Тудорин чего-то подсыпал на стол, чего, я не мог разобрать.

Я был весь как разбитый, еле двигался и еле смотрел. Все блестело на солнце и целые стаи мух носились, перелетали с места на место.

Он надели на стол, покрыли его точно черной скатертью.

– Пали! – закричал Сафонский и Тудорин быстро поднес зажженную спичку к столу. В одно мгновение вся столешница вспыхнула и густой клуб беловатого дыма медленно поднялся над столом и исчез в воздухе.

– Важно! Ха! ха! ха!.. Вот так камуфлет!

Весь стол был покрыт мёртвыми мухами. Множество их повалилось вокруг стола. Некоторые были ещё живы, прыгали, жужжали, другие бойко бежали прочь от стола. Матросики давили их, тяжело пристукивая сапогами и приговаривали:

– погоди! Куда спешишь? Пospеешь! Хранцузска надоедалка!

В это время, откуда ни возмись, шальная граната прилетела прямо на стол и почти в то же мгновение с сухим треском разорвалась, разбрасывая во все стороны осколки.

Все отскочили и попадали на землю, точно мухи. Одному матросу осколок прилетел в грудь и убил наповал. Двух тяжело ранило, а Сафонскому два пальца словно отрезало.

Этот удар вдруг вызвал в моей памяти сцену вчерашней ночи. Шальной выстрел, убитый князь и она, её дикий хохот так ясно зазвучал в ушах и слился со стонами раненых.

Кровь прилила к сердцу. Точно тяжелый кошмар надавил его.

«Где же она!? – схватил я себя за голову. Погибла, убита? Попала в плен?..»

Я не знаю, что я терял в ней, но я чувствовал что потеря эта тяжела. Точно долгая, глубокая страсть разом оборвалась в сердце и оно опустело.

И как странно: я мог это всё забыть и проснуться без воспоминания о ней.

XXXIX.

Когда суматоха прошла, раненых и убитого убрали и всё на бастионе пришло в прежний порядок, то снова все обратились ко мне с расспросами: что со мной было и как я провел ночь?

Я рассказал.

– Это вы, значит, отбивали вчерашний ложемент, что вчера выкопали перед носом у француза. Сегодня он уже опять у него.

– По где же она? – вскричал я. – Неужели погибла!..

– Нашли о ком плакаться, – проговорил Фарашиков. – Коли убита, так и слава Богу. Немало здесь начудила и немало сгубила.

– Я не могу понять: зачем она над убитым ею итальянцем проговорила: *Mio caro!*..

– Да это она над каждым убитым говорит. Когда убили у неё жениха, у неё на глазах – она также обняла его и проговорила: *Mio caro!*..

– Да разве он был итальянец?

– Нн-нет, русский, да ведь и она русская.

Мне было досадно и тяжело это бесчеловечие, это равнодушие к несчастной, к сумасшедшей. Для меня, по крайней мере, она несчастная... И какими, думал я, кровавыми слезами плакало её сердце, когда перед ней, на её глазах, безжалостная пуля поразила то сердце... *Mio caro! Mio amore!*

Помню, я ходил взад и вперёд по бастиону, не обращая никакого внимания на крики вестового на бруствере, который сонно, однообразно выкрикивал: «Пушк-а! Маркелла!»

Все наши засели под блиндаж, по маленькой. Солнце палило невыносимо. Мухи опять носились роями. В сухом воздухе, казалось, стоял тонкий запах порохового дыма. Вдруг за бастионом, у входа послышались громкие голоса и под горку к нам на бастион спустились граф Тоцкий, Гигинов и Гутовский.

– А! Гости дорогие! Каким ветром занесло? Не взыщите, у нас тесненько. Крачка! дай стул!

И тотчас же несколько матросиков подкатили ядра, приладили на них кружки и доски и стулья были готовы.

– А мы пришли проведать. Что у вас была вчера за возня?

И все наперерыв начали рассказывать, какая вчера была возня.

– Послушайте, господа! – заговорил Тоцкий, – так нельзя, ей-Богу же нельзя! Это какая-то игра в жмурки, в темную... Идут сюда, идут туда, сами не знают куда. Сколько у них мы не знаем... Сколько у нас тоже не знаем... Да вот позвольте, чего же лучше. Вчера вот нам порассказали про Федюхины горы. Знаете ли, отчего Кирьяков слетел?..

– Отчего?

– Он перед самой диспозицией клялся и божился, что всех ведут на убой. Выложил им, как дважды два четыре весь план нашего побития. Наконец видит, что ничего не берёт, заплакал, пришел в исступление и начал сам разгонять передовых застрельщиков... Не вынесло значит сердце русское... Ну, и слетел. Сакен не любит шутить. Вылетел с треском... И вот!.. Смотрите. Не прошло и двух месяцев, а «он» уже нам не даёт сделать нового ложемент... Отобьет и всё ближе, ближе...

А русских кровь течёт. Враг ближе к укреплениям...

Россия! Где же ты?!..

Проснись, мой край родной! Изъеденный ворами,

Подавленный рабством...

– Шишш-ш! – зашикал штабс-капитан. – Не увлекайтесь, батенька! Не увлекайтесь! а не то прямо с бастиона улетите куда-нибудь в спокойное место.

XL.

Они рассуждали и спорили долго и горячо, но я слушал их рассеянно. Меня мучил один и тот же тяжелый вопрос: что с ней, с этой чудной, несчастной, которую так сильно пришибла судьба? И что такое она сама эта злая человеческая судьба?!

Помню граф Тоцкий, кусая и дёргая свои маленькие усики, с нервно-жёлчным увлечением, разбирал все промахи Севастопольской кампании. Гигинов и Гутовский поддакивали ему. Другие оспаривали или тоже соглашались.

– Ослепли мы! Вот что-с! – говорил Тоцкий, – сослепу не посчитали сколько нас и принялись за Европейскую войну. Ведь это не парад-с! А как начали нас щипать, мы и того... Немножко прозрели... и поняли, что прежде всего мало нас...

Везде, где враг являлся,

Солдат наш грудью брал.

Глупее прежнего за то распоряжался

Парадный генерал.

– Шишш! – зашикал опять штабс-капитан. – Оставьте, батенька, поэзию, право, оставьте! Поэзия до добра не доводит.

Но Тоцкий не слушал его.

– Ведь теперь всякий мальчишка поймёт, что нас приперли в угол, что неприятеля отбить мы не в состоянии, что мы защищаем одни Севастопольские развалины. Для чего? Позвольте вас спросить. Для какой цели-с?.. Там, где мы бросаем миллион снарядов, «он» бросает два, три миллиона. Он буквально всё, все бастионы, весь Севастополь покрывает чугуном... А отчего-с? Позвольте вас спросить. Да оттого, что у него казны больше... За него и Ротшильды и Мендельсоны и Стефенсоны и всякие *соны*. Он опёрся на золотой мешок!..

– А у нас русский штык и русский Бог!.. – вскричал майор Фарашиков.

– Да, вот теперь и свистите в кулак с русским штыком... Мы со штыком, а он вон с ружьями Минье, что бьют на тысячу шагов. Мы ещё только подходим к нему, а он уж нас бьёт... Вот и сладьте с ним... Нет-с! Не разочли-с! Играем в темную. На «уру»!..

«Тёмный путь» промелькнуло у меня тогда в голове. И мне вдруг представилось вся эта резня и бойня темным делом. И показалась мне, как светлая звёздочка впотьмах, «она», – её жизнь, этой, казалось мне, крепкой, светлой натуры.

И мне (я это хорошо помню) представилось тогда, что лучше спасти её – эту одну жизнь, чем губить не известно из-за чего десятки жизней, которые пригодились бы и не для такого тёмного дела.

Из-за чего, для чего мы бьёмся?! Из-за чего и для чего нас бьют?

Сбирается грозный шумящий собор
На Черное море, на Синий Босфор...
И ропщут, и пенятся волны...
Твой Суд совершится в огне и крови,
Свершат его слепо народы.

Да! Даже слишком слепо; впотьмах глупой скотской бойни, не зная, куда идут и зачем идут!.. И мне стало невыносимо тяжело.

XLI.

На другой день я не выдержал. Неприятель почти замолк и я отпросился в город.

Я не заметил, как уже очутился на его окраинах. Пули свистели мимо ушей, пролетали ядра, с звенящим шумом проносились ракеты, – я ничего не замечал. У меня была одна мысль, одна *idée fixe*. Как и где её найти?

Прежде всего отправился к Томасу, нашёл там несколько офицеров и у одного из них, у штабного капитана Круговского, узнал, что она живёт недалёко от набережной, по ту сторону города, в Матросской слободе.

– Чистенький, беленький домик. Вы сейчас узнаете, – говорил Круговский. – Около него ещё растёт орешина и две груши. Только около него и есть садик. Да, наконец, спросите Степана Свиного, бот-боцмана. Каждый мальчишка укажет. Да, наконец, спросите: где мол «дикая княжна» стоит, сейчас все пальцем укажут.

«Дикая княжна!» И говорят, что русский человек умеет страдать и сострадать!

Я почти бегом бежал в Матросскую слободу и при этом завидовал чайкам, которые носились над заливом. Беленький домик я увидал издали, увидал маленький садик, удостоверился, что то и другое принадлежало Степану Свиному.

Маленькое крылечко вело в домик. Я постучался, подождал. Торкнулся в дверь. Она отворилась и на меня пахнуло духами. Это её запах, запах гелиотропа.

За маленькими сенями открывалась довольно большая комната, с венецианским окном, на море. У окна, в большом вольтере, сидела княжна, в белом пеньюаре. Я вскрикнул от радости и изумления.

– Вы живы!.. Невредимы!?

Она пристально смотрела на меня и не вдруг ответила.

– А! это вы?.. Садитесь. – И она указала на небольшой табурет подле себя.

Она была слаба и необыкновенно бледна. Её волосы, сизо-чёрные и густые были почти распущены. Все движения медленны и ленивы; а глаза, эти большие, жгучие глаза как будто сузились, померкли и ушли внутрь. Она говорила слабо, нехотя.

– Садитесь... – повторила она, видя, что я не двигаюсь и смотрю на неё с состраданием.

– Княжна!.. Я так рад, что вы... не погибли... Я считал вас погибшей...

Она тихо повертела головой.

– Нет!.. Я не погибну... Я застрахована...

– Как же вы добрались до дому?.. Как вы попали сюда? – продолжал я допрашивать, обтирая крупные капли пота, который выступил на лбу.

Она пожала плечами и слегка улыбнулась, как будто удивилась, что это может меня интересовать.

– Очень просто... Меня нашли на поле... Меня все здесь знают... Посадили на лошадь и привезли сюда...

– Кто?

Она опять пожала плечами.

– Не знаю кто... Какой-то знакомый офицер?.. *Que sais-je?!¹⁴* – И она грустно опустила голову, закрыла глаза и замолчала.

Я посидел с полминуты и встал.

– Извините, княжна, – сказал я... – Я только на минутку забежал... интересуясь узнать... Вам надо отдохнуть, успокоиться после этой ужасной ночи.

Она вдруг подняла голову, раскрыла широко глаза и схватила меня за руку.

XLII.

– Сидите!.. Я это хочу! – прошептала она повелительно... – Я теперь мёртвая и вы будете меня сторожить... Возьмите книгу и читайте надо мной... Вот там, налево на полке (она указала мне на этажерку) там стоит Шатобриан. Это годится вместо псалтыря.

Я встал, достал книгу и опять сел подле неё, не понимая что это, шутка будет или припадок помешательства.

– Читайте! – повторила она... – Мне так хорошо... – И она снова закрыла глаза и опрокинулась на кресло.

Я раскрыл книгу, где попало, и начал читать какой-то *confection*.¹⁵

Прошло минут пятнадцать, двадцать. Я читал ровно, монотонно.

Мне казалось, что она спит. По временам я останавливать на ней мой взгляд и голова моя кружилась, Она была удивительно хороша в белом пеньюаре. Грудь её тихо дышала. Лицо было кротко, покойно и грустно. Оно походило на лицо ребенка, больного, но тихого и милого.

Я читал машинально, а сам думал: неужели же у человека нет такой силы, которая бы вылечила это бедное, молодое создание, которая возвратила бы его обществу, как лучшее его украшение?!

¹⁴ Как знать? (*фр.*)

¹⁵ Изделие (*фр.*).

Прошло более получаса. Я замолчал, тихо поднялся со стула и положил на него книгу. На цыпочках, несмотря на то, что вся комната была устлана толстым ковром, я подошел к стулу у стены, на которой я положил мою фуражку, взял её и повернулся к дверям, в смежную комнату. В этих дверях стояла женщина-старуха довольно высокого роста, полная, седая, бледная, вся в черном. её глаза немного напоминали глаза княжны (после я узнал, что это была её тётка, у которой она жила). Я молча поклонился. Она приставила палец к губам и тихо поманила меня к себе. Я подошел и мы оба вошли в смежную комнату.

– Присядьте, пожалуйста, – сказала она шёпотом, указывая на стул, и весь наш разговор шел вполголоса. – Она теперь будет спать долго, всю ночь... Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где она была вчера и что с ней было? Её привезли на рассвете, почти без чувств, всю в крови.

– Она ранена?! – спросил я с испугом.

– Слава Богу, нет... Но... вся грудь у ней была в крови... – И мне при этих словах невольно вспомнилось, как она обняла убитого князя. Я рассказал всё, чему был свидетелем.

Старуха заморгала. Из глаз у ней побежали слезы. Она быстро схватила платок, крепко прижала его к глазам и зарыдала, стараясь сдерживать и заглушать рыдания.

Я сидел молча и ждал, когда кончится этот взрыв глубокого горя.

XLIII.

– Простите! – заговорила она наконец, утирая слезы. – Все сердце выболело... изстрадаюсь, глядя на неё... Вы не поверите, что это была за девушка, до её болезни. Un ange accompli.¹⁶

– Скажите, пожалуйста, неужели это неизлечимо?

Она пожала плечами.

– Мы с Мандлем советовались, с Енохиным. Tous les moyens nous aurons employe...¹⁷ Порой, знаете ли, у ней проходит. Она опять становится raisonable et douce¹⁸. А теперь...

Она посмотрела на меня выразительно и проговорила быстрым шепотом.

– У ней знаете ли женская болезнь. Говорят, что всё пройдет с замужеством. Но... – Она развела руками и замолчала.

Что она хотела сказать этим «но»? – Но её никто не возьмёт? О! Если бы только от этого зависело здоровье её рассудка!

Я вскоре простился и ушел.

Поздно вечером я вернулся на бастион.

Всю дорогу я думал только об одном и том же и ни о чем другом я не мог думать. Собственно говоря, это были не думы, а мечты, целый рой их, блестящих, радужных, в которых постоянно она была центром и светочем.

На бастионе я застал всех в каком-то торжественно тревожном настроении или, правильнее говоря, ожидании.

Все постоянно выглядывали за бруствер, все как будто к чему-то готовились. Внизу, за бастионом, я встретил несколько рот С... полка. Это было прикрытие.

– Что это? Чего ждут? – спросил я Тютрина.

Он нагнулся ко мне и торжественно сообщил.

– Штурм будет. Вот что!

– Да откуда же вы это узнали?

¹⁶ Ангел во плоти. (фр.).

¹⁷ Все средства употребили... (фр.).

¹⁸ разумной и мягкой (фр.).

Он многозначительно кивнул головой и, указывая на неприятельские линии, проговорил вполголоса.

– Молчит, каналья, готовится... Ну! и лазутчики тоже доносят.

Мы все уже давно ждали штурма, как избавления от постоянного висения между небом и землёй под отчаянным огнём неприятеля. Везде, куда я ни подходил на бастионе, везде это чувствовалось. Каждый солдат и матросик смотрел серьезно. У каждого в глазах было ожидание и возбуждение.

И это настроение продолжалось всю ночь. Почти никто не ложился, если кто-нибудь сваливался в блиндаж или просто на землю, то, полежав немного, опять вскакивал и бежал к брустверу, чтобы заглянуть в даль, в непривычную ночную тишину, среди которой, как грозное безобразное чудовище, чернели неприятельские бастионы и укрепления.

Порой, то там, то здесь раздавалось вполголоса.

– Идёт!

– Где, где?

– Во! Во! Вишь ползёт. – И все мгновенно встрепепунутся, насторожат уши, глаза и пристально смотрят туда, в эту тьму немую, в которой чуть-чуть где-то вдали, словно звёздочки, мелькают какие-то огоньки.

XLIV.

Почти всю эту ночь я был в каком-то радостном настроении. Какая-то твердая и светлая надежда согревала сердце. Я был почти уверен, что оно встретит взаимность в ней, в этой несчастной, которая отдастся мне из благодарности за её спасение.

Странно! Это было совершенно такое чувство, с каким ждешь, бывало, светлый день великого праздника. Лёгкая дрожь от бессонной ночи под открытым небом по временам пробегала по спине и заставляла вздрагивать. Я подходил то к тому, то к другому оружию. Несколько раз допрашивал, чем заряжены? И каждый раз получал один и тот же ответ: картечью.

Был, должно быть, уже первый час, когда я присел около стенки и тихо, радостно задремал.

– Ваш-бродие! Ваш-бродие!

С испугом вскакиваю.

– Что такое?... Где!

– Ваш-бродие, пожалуйста; пришел приказ ваш-бродие, отправляться, Ваш-бродие, на Малахов Курган.

– Чего ты бредёшь дура, проспись!! Там Фердузын.

– Никак нет, ваш-бродие. Их-бродие ядром убило. Поперек тела вдарило, ажно саблю внутрь загнамши.

Я бросился собираться. Очевидно, дело было спешное. Через десять минут, сдав батарею и простившись с товарищами, я уже скакал к Малахову Кургану, под команду к капитану 1-го ранга Керну.

Неприятель только изредка, как бы спросонья, посылал выстрелы, которые на несколько мгновений освещали то там, то здесь ночную тьму.

Взобравшись на верх кургана, я и здесь точно также встретил у бастиона почти весь К... полк.

Малахов Курган (да и все бастионы) были уже мне знакомы. Я бывал на них несколько раз и быстро ориентировался на моем новом посту. Здесь было просторнее, величественнее. Множество траверзов перегораживало бастион внутри.

Явившись к командиру, я тотчас же отправился, по его приказанию, на передовую круглую, так называемую, глассисную батарею. Там разместил свои орудия на приготовленных уже заранее барбетах и снова начал ожидать великого часа.

Порой, среди наступавшей, глубокой ночной тиши, казалось, какой-то смутный, точно подземный гул, тянет свою глухую, однообразную ноту. Я усиленно прислушивался к нему. Он то поднимался, то падал и затихал. Это был гул усталых, потрясенных, натянутых нервов.

Начало светать. Из утреннего тумана медленно выступали холмы и поля, рисуясь какими-то волнистыми, неясными, фантастическими очертаниями.

Вдруг среди утренней мёртвой тишины ясно, определённо дошёл протяжный, заунывный звон колокола. Это звонили в Севастополе к заутрене.

Я машинально снял шапку и перекрестился.

XLV.

Свет гнал сумрак ночи. Яснее и яснее развёртывалась перед глазами широкая панорама полей и холмов. Все укрепления как будто спали и нежились в предрассветном сне. Всё было так тихо и мирно. На востоке занялась заря.

Вдруг среди этой мёртвой тишины, совершенно неожиданно, с страшным гулом, поднялся широкий огненный сноп с неприятельского камчатского редута.

Целый букет бомб послал нам неприятель в виде сигнала. Высоко взлетели огненные дуги и разметались в разные стороны. Вслед за этим сигналом резко, неприятно, где-то вдали зазвучал рожок и тотчас же тысячи рожков, во всех траншеях, облежавших наши укрепления, подхватили эту атаку.

В один миг всё поле покрылось рядами черных фигурок. Они, как муравьи, быстро вылезали из траншей и выстраивались в шеренги. И тотчас же заговорила пальба. Неистовый грохот пушек слился с несмолкаемыми перекатами и трескотней ружейного огня.

Все холмы и поля, за несколько мгновений, мирно дремавшие, вдруг покрылись шеренгами и колоннами солдат в синих шинелях и красных шароварах. Точно синие волны, с ревом и гулом катились они на наши бастионы. Ближе, ближе... вот уже крик их и рожки заглушают ружейную пальбу. То там, то здесь они уже лезут на высоты, врываются в бастионы, но в это мгновение – в один миг – весь бруствер покрылся нашими войсками. Молча, как один человек, они склонили ружья и целый дождь огня, свинца полетел навстречу наступавшим.

– Картечь! – закричал я, неистово взмахнув саблей и соскочив вниз. Пять орудий, все как одно, грянули убийственный залп.

Я снова вскочил на бруствер.

Там, внизу, что-то черно-красное билось, кипело в дыму. И вся эта масса покатила назад, преследуемая непрерывным смертельным огнём наших солдатиков.

– Ура! – закричал я в неистовой радости и оглянулся кругом на все боевое поле.

Везде, все наши бастионы были опоясаны облаками сизого дыма, в котором постоянно мелькали огни.

Черно-сизая волна откатилась, но за ней вставали новые волны, которые с тем же пронзительным криком лезли на приступ.

И снова гром залпов, и снова убийственный огонь, и кровавая масса бьётся в дыму у подножия бастионов.

XLVI.

Три раза штурмующие волны подкатывались к рвам бастионов, и три раза, расстроенные, отбитые, бежали назад. Я помню, как последний раз выстраивались шеренги. Офицеры были впереди колонн.

Помню их бледные, отчаянные лица; их сабли, сверкавшие на утреннем солнце. Но это было уже мужество отчаяния. Их было немного. Лучшие храбрейшие легли около бастионов.

Как-то хрипло звучали рожки. В атаке уже не было общего, дружного натиска. Солдаты, словно слепые, зажмурясь, с отчаянным криком: «Vive la France!» лезли на возвышения, падали во рвы бастионов или скатывались вниз и, повинувшись общей смертельной панике, бежали назад. Смерть гналась за ними. Свинцовый дождь преследовал их, и тысячи трупов усеяли всё пространство около бастионов. Пыль и дым покрыли эту кровавую жатву.

Если после первого приступа ещё было сомнение в удаче, то после второго уже никто не сомневался, что победа будет наша, что штурм будет отбит.

В горячке боя множество слухов самых нелепых, неизвестно откуда и от кого, долетало до нас. Помню, во время первого приступа, когда второй залп картечи врезался в штурмующую массу, кто-то внизу закричал:

– Батюшки! уже пятый бастион взят, и батарею Жерве, слышь, сбили.

Я вскочил на бруствер, чтобы взглянуть туда по направлению к пятому бастиону, но густой дым застилал всё поле. Помню, как сердце сжалось, но почти тотчас же, сквозь дым, я увидел, как черная волна отбежала прочь от бастионов, и я вздохнул покойно и радостно.

После второго приступа наш начальник, капитан Керн, обходил батареи с каким-то генералом, толстым, седым, и несколькими офицерами. Кто был этот генерал, я до сих пор не знаю, но как теперь вижу сияющее лицо Керна.

– Теперь уж, ваше превосходительство, – говорил он, – неприятель ничего нам не сделает, приступай хоть до завтра. Теперь я уж покоен и могу чай пить. Эй, ставить самовар!

И когда неприятель в третий раз делал отчаянную попытку овладеть бастионами, наш капитан преспокойно сидел на банкете, курил сигару и с торжеством пил чай.

Это было часов около шести. Штурм кончился. Дым и пыль ещё носились над полем, усеянным убитыми и ранеными. Тёмные тени бежали по холмам и долинам, и солнце как будто боялось осветить страшную картину кровавого разрушения.

Но бой ещё был не кончен. У подножия кургана и во рву кипели отчаянные вспышки, последние усилия разрозненных кучек храбрецов, искавших смерти или плена.

Помню, с каким торжеством наши солдатики приводили пленных на бастион. Помню, как один уже седой фельдфебель рвался из рук и заливался горькими слезами.

– De grace! Убейте меня! Убейте меня!.. – молил он. – Я не хочу пережить страма великой армии!

Но его разумеется не убили, а связали и погнали вместе с другими.

XLVII.

В семь часов настала полная тишина. Солнце так радостно светило и в сердцах всех нас, защитников севастопольских твердынь, также сияло солнце.

Какой-то молоденький прапорщик всех обнимал со слезами и кричал:

– Урра! Теперь мы вздохнём! Теперь ему, с с..., только хвост в спину, да в три шеи; уррра!!

Один толстый майор Шульд приставал ко всем с шампанским.

– Помилуйте, как же можно пить в восьмом часу утра.

– А разве нельзя, нельзя? – допрашивал он пьяным языком. – Ведь я пью же!

И он, действительно, пил прямо из горлышка.

– Полноте! Нехорошо, майор, мы и так пьяны от радости.

– Нехорошо?!.. Ты говоришь нехорошо!.. Хорошо! Слушаюсь... умудрил!

И он швырнул бутылку и закричал:

– Эй! ты, сычук, антихрист! Давай ещё полдюжины!!..

На бастион к нам пришли офицеры с других бастионов; пришли Тугорин и Сафонский, который к этому дню выписался из лазарета.

– Как будто нельзя драться без двух пальцев?! – говорил он. – Вздор! Все можно; все, что истинно захочешь. – Но он был бледен и жёлт.

– Вот, ваше превосходительство, – говорил наш штабс-капитан Керну, – теперь надо будет самим помышлять о штурме, чтобы по горячим следам прогнать всю эту сволочь.

– Не знаюсь-с, – отвечал скромно Керн, – это будет зависеть от старших-с.

– А наш Хрулев что делал, господа! – говорил один офицерик, – просто беда! Когда на второй бастион «он» ворвался и засел во рву, так он туда, выбивать, с кучкой Севцев: «за мной благодетели!.. Ура!..» И выбил из рва, как пить дал.

– Молодец! Герой!..

Я бродил по бастиону без цели и дум. В душе так радостно, сердце поет ликующую песню. Чего же лучше?.. Но устаток и сонная ночь брали свое. Я шатался, голова кружилась.

Точь в точь, как на Пасху, после Христовой заутрени. Радостные лица, все веселы и довольны, все торжествуют. И лёгкая дрожь в сердце. Мурашки бегают по спине. Так приятно вздрагивается, зеваётся и голова слегка кружится и шумит.

Только этот несносный запах пороха слышится повсюду, далее сквозь утреннюю свежесть; да порой вдруг ветерок с поля нанесёт кислый, острый запах крови. Бррр!

Я машинально, бессознательно присел около бруствера, облокотился. Засунул руки в рукава мундира и не помню как заснул, как мёртвый и проспал до самых полден. Пьяный майор разбудил меня.

– Вставай гусь! Соня-храпушка! Парламентёры приехали.

Я вскочил.

Впереди, в полной парадной форме, стояли два французских офицера и один из них держал белое знамя.

XLVIII.

Спросонок мне представилось, что эти парламентеры приехали просить мира. Но дело шло просто о перемирии для уборки тел.

Вскоре на всех бастионах, наших и неприятельских, забелели белые флаги. С обеих сторон множество народа шло и бежало в долины затем, чтобы побрататься на несколько часов и потом снова приняться, с новыми силами, за убийство этих новых друзей и братьев.

Замечательно, что везде при встречах начинали первое знакомство и разговоры наши солдатики – и нигде французы. Они, обыкновенно, молча, озабоченные и угрюмые, как волки, сходились с нашими молодцами.

Я помню, стоял влево от Малахова. Мимо меня проходила группа французов, с носилками и как раз им наперерез шла кучка с нашего, т. е. с пятого бастиона.

Низенький коренастый солдатик Смальчиков, по прозванию Свистулька – лихач и флант – заломив ухарски шапку набекрень, подоткнув штаны в сапоги шел, раскачиваясь и покуривая носогрелку.

– Бонжур камрад! – отпустил он первому попавшемуся тщедушному французику.

– Bonjour mon brave! – пробурчал французик и хотел прошагать мимо. Но Свистулька остановил его.

– Алло, Шанжа, камрад! – И он протянул руку к коротенькой глиняной трубочке, которая дымилась в зубах француза и показал на свою, полтавскую здоровую носогрелку, – с гвоздиком на медной цепочке. Затем тотчас же, без церемонии, всунул в рот француза свою носогрелку и взял у него его трубочку. – Бона табак! А-яй бона! Сам пан тре! – И он несколько раз кивнул головой и затянулся из трубочки француза. – И твоя бона табак. Ты слышь, как трубку-то выкуришь, ты её, мусье, об сапог, тук, тук, тук!! – И он хотел показать как надо выколачивать. Но белая глиняная трубочка от первого же удара о здоровый каблук разлетелась вдребезги.

– Вот так хранцузка носогрелка!

И вся публика дружно захохотала.

– Прощай камрад! Коли полезешь на баскион, мою трубочку в зубах дерзки, чтобы я тебя заприметил и не шибко приколол. – И Свистулька хотел пройти мимо. Но французик остановил его. Он быстро вытащил из ранца несколько глиняных трубочек и предложил ему три штуки, приложив сперва к сердцу и затем положил прямо в руку Свистульке.

– Спасибо камрад. Больно мерси – благодарствуй!.. Слышь ты! у нас всё лес – и трубки деревянные. А у вас глина, да камень (и он поднял камешек и показал французу). И трубки у вас глиняны, да каменны. Нашего брата как ни колоти – он не расшибётся, как моя носогрелка, потому что казённый, – а вашего стукни раз – и капут мусью... как твоя трубочка. Понял?! Ну, шагай с Богом дальше! Алон шалон путромансо; хрансе-каранце. Парлараларатибара!

И вся публика снова захохотала.

XLIX.

Мы с ТUTORИНЫМ и ещё двумя офицерами, с Малахова, долго ходили по холмам и долинам, которые снова оживились. Везде работали кучки солдат, преимущественно французов, убрали тела, клали на носилки и относили в общую могилу. С нашей стороны было очень мало убитых, но груды неприятельских тел были навалены во рвах или около бастионов. В некоторых местах, где дружно ударила картечь, целые десятки лежали друг на друге. Помню один солдат, весь залитый кровью, сидел, без головы, облокотившись на другого и подняв обе руки кверху.

Направо, на поле, где раньше начали убирать, тел уже не было, но везде были лужи крови, точно турецкие кровавые букеты, разбросанные по серо-зелёному ковру.

– Это что за караван идёт? – спросил ТУТОРИН, смотря вдаль и приставив руку ко лбу, в виде козырька.

Действительно там виднелась пыль и целая кавалькада ехала мелкою рысью.

– А ведь это она!.. опять... побегушников, да сервантесов набрала и катит. Смотрите! Точно какой-нибудь генерал штабной, с адъютантами.

Я догадался о ком говорил он, и сердце радостно забилося. Но я всё-таки спросил его.

– Кто это она?

– Да наша «дикая девка»!.. Княжна... Этакое безобразие! Точно на смех, для приманки держат её при армии... Хоть-бы кто-нибудь догадался её подстрелить невзначай...

– Полноте! – вскричал я. – Разве у неё не человечья душа?! Разве вы не христианин!

– В том-то и дело, что я христианин и желаю добра нашему брату, а в ней по крайней мере семь чертей сидит, если не целый десяток.

Я с удивлением посмотрел на него.

– Неужели вы верите в чертей и в то, что они могут сидеть в человеке?! – И я пожал плечами.

– Нет, я не верю и это так только говорится. А что её постоянно мечет из стороны в сторону, чтобы какую-нибудь пакость учинить и человека загубить – это верно. Ведь и теперь, например, – посмотрите, какая барышня, княжна, поедет любоваться или дивоваться на убитых людей. Ведь это и нашему брату тошно и страшно... А она вон целую стаю набрала и отправилась. Вы думаете, что если бы она не сомустила, то все эти поехали бы совершать такую прогулку? Ни за что!..

– Да ведь мы же с вами пошли?

– Так ведь не гурьбой же. Не на комедию, прости Господи!.. Променад делать.

– Полноте! Просто женское любопытство. А одной страшно. Вот она и подобрала компанию.

– Ей страшно?!.. Нет, вы ещё не знаете, что это за госпожа. Её сам чёрт не испугает.

– Что же? Тем лучше. Ведь храбрость вещь почтенная.

Он посмотрел на меня с недоумением и замолчал.

L.

Между тем, кавалькада подъехала к нам.

Княжна ехала впереди, вся в черном, на черной англазированной лошади. Подле неё ехал граф Тоцкий, за ними Гигинов, Гутовский и ещё трое или четверо штабных офицеров.

Я смотрел на неё и тщетно искал того кроткого, тихого выражения лица, которое я видел на ней, в последнее наше свидание. Это опять было лицо гордой, страстной, безумной женщины. Широко раскрытые большие, жгучие глаза жадно рыскали по полю. Тонкие ноздри раздулись. Она как будто жадно вдыхала в себя запах крови.

– А! Ночной спутник! Здравствуйте! – закричала она, подъехав и протягивая ко мне руку в замшевой, черной перчатке, с раструбом. – Господа! – быстро обратилась она в компании. – Я устала ехать. Мы пойдем пешком.

И не дожидаясь ответа, она опёрлась на мои плечи и быстро соскочила с лошади.

– Ну! куда же пешком, – запротестовал Гигинов. – Тут пожалуй в лужу попадешь, в крови перепачкаешься.

– Кто не хочет идти пешком, тот может ехать. Я не мешаю. Дайте мне руку, – прибавила она, обращаясь ко мне, – ведите меня.

– Куда же вас вести, княжна? – Везде одно и то же. Кровь и смерть. Что может быть интересного.

– В разрушении? Это самое интересное... Почему анатомы с таким наслаждением режут трупы? О! Я понимаю это наслаждение. Смерть больше может раскрыть человеку, чем скрытная, холодная, обыденная жизнь... Посмотрите какой курьёзный *echantillon*¹⁹!

И она остановилась перед трупом солдата, которому картечь ударила в голову. Лица нельзя было разобрать. Это была одна сплошная, кровавая масса и только мутные синеватые глаза глядели как-то испуганно и укоризненно. Все спутники подошли и обступили нас кругом.

– Смотрите, – говорила она, – как он глядит. – Наверно ни один живой не будет так смотреть. При жизни он, может быть, от всех прятал страх, недовольство и ни перед каким офицером не смел заявить протеста, а теперь, смотрите, смотрите – разве он не упрекает всех, кто послал его на эту бойню, разве из глаз у него не текут кровавые слезы?

И действительно, на всем лице его застыли кровавые потоки.

¹⁹ Образчик (*фр.*).

– Бррр! – Просто безобразие! – проговорил Тоцкий, нервно вздрагивая.

Княжна взглянула на него насмешливо.

– Здесь правда, а не безобразие. Разве во всех нас не то же самое! Разве мы не полны крови и всяких гадостей? Но все это скрыто под изящной оболочкой, к которой мы привыкли и находим её очень красивой.

– Всё это гамлетовская философия, – сказал Гигинов... – А на деле меня просто тошнит от этой правды.

Я молча смотрел на неё. Её лицо злобно-насмешливое, улыбающееся; её глаза, хладнокровно рассматривающие эту безобразную картину смерти, которую не мог вынести ни один из нас – все это как-то невыносимо тяжело действовало на душу.

Я невольно потянул её в сторону. Она в полоборота посмотрела на меня и улыбка её сделалась ещё насмешливее.

– У вас, княжна, не женские нервы, – сказал я, – у вас даже не наши солдатские нервы. – Вы – исключительная натура. Родившись мужчиной, вы были бы образцом твердости, мужества, храбрости и... неумолимой жестокости...

– Да! – но так как я не мужчина, то я могу выбросить все эти добродетельные качества за борт и мирно прозябать в качестве российской женщины...

И она быстро двинулась вперед.

LI.

– Это впереди Малахов курган? – спросила она.

– Да! – это Малахов курган.

– Это тот, который считают главным – теперь, когда на это указали французы? Пойдемте туда, я давно на нём не была... Притом так жарко, со мной нет зонта. Хочется куда-нибудь в тень.

Я рассказал ей, как я неожиданно, вчера ночью, попал на этот курган, рассказал мои ощущения во время штурма. Она слушала меня и тихо всходила на холм, тяжело дыша. От всей её стройной фигуры веяло таким сильным ароматом. Она так близко прижималась ко мне, так сильно опиралась на руку, что голова моя невольно начала слегка кружиться. Мне показалось даже, что она нарочно, два раза прижала мою руку к её волнующейся груди.

– Княжна, – сказал я вполголоса. – Я боюсь вас!.. Я начинаю вас бояться.

Она тихо, кокетливо засмеялась.

– Неужели я такое пугало?! Чем же я так страшна?..

– Вашим бесчеловечием, вашею жестокостью... Вашим стремлением к разрушению... волнениям... бурям... Порой мне кажется, что вами владеет какой-то очаровательный демон...

– Какой вздор! – Какие глупости!! Это вы, вероятно, в каком-нибудь раздирательном французском романе вычитали?!

– Как бы желал, – продолжал я, – видеть вас такой, какой я встретил вас после этой ужасной ночи... Помните!.. У вас на квартире.

– Я была больна, слаба... Вы желали бы видеть меня постоянно больной, слабой! Merci, благодарю за желание... Вы, как всякий мужчина, желали бы видеть во мне, женщине, слабое, хилое существо, которое каждую минуту готово прибегнуть к вам под крылышко. Этого вы от меня не дожждётесь!.. Я хочу быть равной. Нет! Я хочу быть выше мужчины... в котором гораздо более дряни, всякого вздора, чепухи... чем во всякой женщине... Пустите! Мне жарко...

И она быстро выдернула руку из моей руки и начала обмахиваться душистым платком.

– Княжна, – сказал я, – вы забываете, что природу нельзя победить. Что силы женщины слабее сил мужчины; что её организм совсем другой.

– Вздор! Вздор! Это вы только себе вообразили. Разве не было амазонок?! Разве наши киргизки не ведут все мужские работы? Да у нас на севере в Беломорье женщины делают всё. Они гораздо крепче, сильнее мужчины.

Она быстро остановилась.

– Нет, вас не то пугает во мне; – и она дотронулась до моей руки. – Вас пугает то... что во мне слишком много правды. Я не люблю и не хочу маскироваться и обманывать ни себя, ни других. Я принуждена жить в этом глупом, мрачном, кровавом мире и... я живу, не отворачиваясь от крови, от смерти – а напротив, радуюсь и тому, и другому, как разрушению всей этой гадости, которая нас окружает...

– Вы стало быть надеетесь на тот мир, на иную, лучшую жизнь.

– На какой мир, на какую жизнь?

– Жизнь в лучшем, идеальном, небесном мире.

Она широко раскрыла глаза и захохотала так дико, что у меня мороз побежал по спине. Этот хохот напомнил мне её безумный, истерический хохот.

ЛII.

– Что это? Как вы странно смеетесь? – спросил Тоцкий. Даже за человека страшно.

– Ха! ха! ха! Вот господин (и она указала на меня) верит в какую-то иную, лучшую жизнь, в небесном мире...

– Что же тут смешного?! И я верю, и многие, почти все верят. А если бы этой веры не существовало, то и прогресс был бы невозможен.

Она посмотрела на него и ничего не ответила.

– Скажите, пожалуйста, – спросила она. – Мы скоро придем? Ужасно жарко... Даже говорить жарко.

До входа в бастион оставалось не более сотни шагов. Гигинов взял у денщика шинель и вместе с Гутовским и двумя штабными растянули её в виде тента над головой княжны.

– Да от этого ещё более жары!.. – проговорила она. Но всё-таки шла под этим импровизированными зонтом.

В самый бастион она едва поднялась и постоянно обмахивалась платком.

– А, ваше сиятельство! Давненько не изволили к нам жаловать! – встретил её Простоквасов, один из моряков на Малаховом кургане.

– Где у вас тень? Нет ли местечка похолоднее?

– Куда же вас прикажете? В погреб, что ли?

– Вот, вот! – вскричал другой моряк Свалкин. – Сюда! – И он повел всю компанию в восточный угол, где траверзы были выше. – Эй! дать сюда сидеть на чем-нибудь.

И в один миг матросики натащили досок, туров, ядер и устроили отличную гостиную под открытым небом.

– Это, заметьте, мы теперь только пользуемся этим углом по случаю перемирия, а то это самое опасное место... Видите, сколько здесь ям и чугуны...

Княжну усадили в самый угол. Один мичман сделал ей из старой морской карты нечто в роде веера.

– Чего-бы-нибудь теперь напиться похолоднее, – попросила она.

– А вот! Вот! Самое холодное! – подхватил толстый Шульц, явившись неизвестно как и откуда с бутылкой шампанского. – Эй! Сверчук! Льду давай, антихрист.

И Сверчук, низенький косолапый матросик, с огромной курчавой головой, бросился опретью и мигом притащил несколько кусков льду в черепке от бомбы.

Княжна выпила чуть не целый стакан залпом.

– Уф!.. Теперь можно блаженствовать.

– Как мало нужно для человеческого блаженства, – заметил сентенциозно Тоцкий, похлопывая по земле солдатским шомполом, на который он опирался во время восхождения на курган.

– Да! И вот это-то и обидно, – подхватила княжна, – обидно то, что всякая безделица, малейшее неудобство как только минует... то вслед за ними тотчас же является условное блаженство.

– Да ведь иного вы и не получите, – вмешался Гутовский. – Иного ничего, кроме условного. Все условно и блаженство условно.

– То есть все основано на обмане. Все кажется не таким, какое есть на самом деле. И все зависит от нас, от наших нервов...

LIII.

Я помню при этом философском определении посмотрел с недоумением на неё.

– Разве нет ничего неизменного? – спросил я. – Ничего что оставалось бы вечно таким, каково оно есть по природе? Вечно равным самому себе?..

Княжна махнула на меня рукой.

– Господа! Господа! – закричал Простоквасов: – а вы эту философию того. Оставьте! Здесь мудрости не требуется... Верь, молись и дерись за матушку Русь, за батюшку Царя!.. Вот вам и вся философия...

– И все к чёрту! – закричал Шульц, протягивая княжне другой стакан шампанского. Но она отказалась.

– Мне и так жарко, а вы меня поите вином, – сказала она обмахиваясь.

– Да ведь холодненьким, ваше сиятельство.

– Оттого вам и жарко, – объяснил Гагинов, – что не послушались меня и пошли пешком.

Она ничего не ответила. Она полулежала, облокотясь на стенку и доску. Её глаза искрились и меркли. На алых, полных, слегка оттопыренных губах мелькала улыбка. Черные волосы выбились из-под шляпы и растрепались. Она походила на вакханку, на какую-то картину, которую я где-то и когда-то видел, но где не помню. Молча я любовался на неё.

– Ну философия здесь не допускается, а рассуждение?.. Тоже не допускается? – спросил тихо и насмешливо Тоцкий и посмотрел на Простоквасова.

– Коли велят, так рассуждай! – подхватил Шульц: – А не велят так и не рассуждай! Пей и дело разумеи!

И он залпом выпил стакан, который держал в руках, прибавя: – Вот как!

– Смотрите на верх, – указала княжна, – видите это облачко? Точно человечья голова...

– Это не облако, а целая тучка, – поправил Тоцкий.

– Ну все равно!.. Смотрите, как оно меняется. Из человеческой головы стала рыба голова. Может быть, оно несёт в себе пары сегодняшней крови и перенесет их за несколько десятков вёрст (она быстро приподнялась) И знаете ли, это облачко – это в миниатюре целый мир.

– Это ваше сиятельство – ученость! – протестовал Простоквасов, – а у нас ученость запрещается.

Но она не слушала его.

– В этом облачке точно так же как здесь всё движется. Оно само летит по воле ветра.

– А ветер летит по воле Бога... это всем известно, – подхватил Простоквасов.

Но она опять не обратила на его слова внимания.

– Ветер двигается туда где воздух теплее и реже... Мне кажется что и во всем мире так: – всё движется силой тепла, всё переносится, переменяет образы, волнуется. В одном месте льётся кровь, в другом вода; там гремит гром, здесь спят и обжираются...

– Нет, и здесь гремят громы. Только теперь они замолкли.

– Ну! Все равно. Только всё это суетится, мечется, волнуется или прозябает... и никто, никто не скажет: зачем весь этот сумбур, эта нелепица, чепуха!.. Эта темная, мрачная или глупая суматоха и толкотня.

LIV.

Один из штабных офицеров, кажется, Крупкин, быстро вскочил, встал в театральную позу и продекламировал:

«Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет.
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной скорбной слез.
Страдал, рыдал, терпел, исчез».

– Суета сует и всяческая суета! Как говорил покойный царь Соломон... Давно, всему миру известно, – проговорил Тоцкий.

– К этому ещё должно добавить, – сказал Гутовский, строчку из Лермонтова:

«И жизнь, как посмотришь,
с холодным вниманием вокруг:
Какая пустая и глупая шутка!..»

– Да всего Байрона, пожалуй, сюда же приложить, – подхватил Гигинов. – «Тьму» напр. Знаете?

«Погасло солнце светлое и льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном,
Час утра приходил и проходил
Но дня не приводил он за собою...

– Connu! – перервал его Тоцкий.

– Господа! Господа! – вскричал умоляющим тоном Простоквасов. – Оставьте вы философию! Философия до добра не доведёт.

– Да это не философия, Александр Степаныч, а литература, поэзия!..

– Ну все равно – один чёрт!

– «Ученость вот беда!» – закричал Свалкин и захохотал.

– Господа! – вскричала княжна, – Позвольте и мне свою лепту приложить к поэтическим воспоминаниям... Только я боюсь, что не все здесь знают французский язык.

– Ничего я переведу, – сказал Тоцкий.

– Вот! – сказала она, наиболее и лучше подходящее место, и она выпрямилась, тихо подняла руку и начала серьезно и просто, каким-то сосредоточенным глухим голосом:

Lorsque du Createur la parole feconde
En une heure fatale eut enfante le monde
Des germes du Chaos;

De son oeuvre imparfait il detourna sa face
Et d'un pied dedaigneux le lancant dans l'espace
Rentra dans son repos.

Vas! dit-il. Je te livre a ta propre misere
Trop indigne a mes yeux de l'amour ou du colere.
Tu n'es rien devant moi!..

Roule au gre du hasard dans les deserts du vide.
Qu'a jamais au loin de moi le destin soit ton guide
Et le malheur ton roi...

Il dit. Comme un vautour, qui plonge sur sa proie.
Le malheur a ces mots pousse en signe de joie
Un long gémissement.

Et pressant l'Univers dan sa serre cruelle
Embrasse pour jamais de sa rage eternelle
Eternel aliment!..

Le mal des lors regna dans son immense empire
Des lors tout ce qui pense et tout ce qui respire
Commenca de souffrir.

Le ciel et la terre, l'ame et la matiere
Tout gemit et la voix de la nature entiere
Ne fut qu'un long soupir!..²⁰

По мере того, как она читала, голос её становился торжественнее и глуше. Граф Тоцкий вслед за ней переводил эту пессимистическую, мрачную и всем известную оду Ламартина.

Мне кажется, что до сих пор, после многих лет жизни, я помню ту грустную, отчаянную ноту, с которой она произнесла это страшное *Tout gémit!..*²¹

Помню, я тогда в душе подумал, смотря на её мрачное лицо: она глубоко несчастна!

LV.

– А у нас не так! – вскричал Простоквасов и встал во весь рост. – У нас говорят вот как. – И он начал с жаром декламировать:

О! Ты пространством бесконечный,

²⁰ «Когда творческого духа плодотворное слово, в час роковой, из недр хаоса, мир возродило; от его несовершенного творения он свой лик отвратил и, толкнув его с презрением в пространство, снова предался покою. Ступай! – сказал он. – Я отдаю тебя твоему собственному ничтожеству! Недостойный ни моего гнева, ни моей любви – ты ничто передо мною! Катись по прихоти случая в пустынных пространствах и пусть, вдали от меня – ведет тебя судьба и горе царит над тобою!» Он сказал! – Как коршун, парящий над добычей; горе, при этих словах, испустило долгий радостный стон. И, сжимая мир в своих жестоких объятиях, объяло навсегда своей вечной яростью, свою вечную пищу!.. Зло с тех пор царит в своих громадных владениях. С тех пор все что мыслит, и все что дышит, начало страдать. Небо и земля, душа и материя – всё мучится и голос целой природы – не более как долгий, томительный стон!..»

²¹ Все стонет!

Живый в движеньях вѣщества.
Теченьем времени Предвечный
Без лиц, в трех лицах Божества.

При слове «без лиц» он вдруг закрыл свое лицо обеими руками и затем тотчас же открыл его и повернул обе ладони к нам, и не отнимая их от головы, проговорил: «в трех лицах божества». Этот маневр должен был изобразить «три лица».

Княжна взглянула на него и громко захохотала, а за ней захохотала и вся компания.

– Да! смейтесь, смейтесь, – ворчал Простоквасов, снова усаживаясь. – А наш Державин куда далеко выше вашего безбожного Ламартина. Смеяться над всем можно, да не должно.

– Да почему же он безбожный? – допросил Гутовский. Но Простоквасов продолжал свое.

– Напустят на себя этой ходульщины – чертовщины. Делать им нечего. По милости Господа сыты, обуты, одеты и бесятся с жиру; байронствуют! Тьфу! – И он энергически плюнул и, сняв свою белую фуражку, вытер клетчатым синим платком пот с своей огромной лысины и красного, широкого лица.

Гутовский и Гигинов опять захохотали.

– Так вот откуда вышел байронизм! – удивился Тоцкий. – А мы ведь этого и не знали. Так всё с жиру, Александр Степанович, да?

Но Александр Степанович не слушал. Подозвав матросика, он что-то приказывал ему, и матросик вытянувшись и перебирая ногами, только повторял:

– Слушаю Вашбродие! Слушаю Вашбродие!

Дело шло очевидно об угощении. Александр Степанович был хлебосол, а случай выдался самый подходящий.

В эту минуту вдруг откуда не возьмись белый петух прибежал и с криком кинулся под ноги Гигинова. За ним гнался бастионный кухарь, в белой матросской шапке, с рукавами, засученными по локоть. Он ловко поймал его у ног Тоцкого, отнес в сторону, к чурбану, врытому в землю, и положив на него петуха, с размаха отсек ему голову. Голова отпрыгнула в сторону. Туловище он бросил на землю. Оно билось и трепетало, разбрасывая перья и брызгая кровью.

– Какая отвратительная картина! – вскричал Тоцкий, нервно вздрагивая и отвёртываясь.

– Так и с нами поступает судьба, – тихо проговорила княжна, – живёшь, волнуешься и не ожидаешь, что через час, через минуту от вас останется туловище без головы – комок земли.

– Нет-с по нашему не так; – вмешался опять неугомонный Простоквасов. – Останется ещё душа Божья. Она не умирает.

Княжна с улыбкой посмотрела на него и ничего не ответила.

Матросики принесли стол, на котором мы должны были вкушать нашу трапезу.

LVI.

Но трапеза наша не удалась. Только что мы принялись за неё, как пришло известие, что сейчас явятся священники служить благодарственный молебен, по поводу отбития штурма. И действительно, не прошло пятнадцати или двадцати минут, как раздалось церковное пение и, на бастион пришла целая толпа из Севастополя, преимущественно солдат и моряков.

Впереди высокий унтер-офицер нёс крест, точно знамя. За ним шел хор из военных, а за хором выступал наш отец Александр, известный всем севастопольским бастионам. Не раз он

ходил в ночные атаки вместе с севастопольцами и с крестом в руке укреплял и воодушевлял храбрых защитников.

Целое облако пыли внесли импровизированные богомольцы. Перед бастионной иконой поставили маленький стол, на него серебряную миску с святой водой. Все торжественно суетились и Простоквасов принимал уже деятельное участие в этой суете.

Я смотрел на лица наших солдатиков. Они все точно преобразились. Каждый как будто ушел куда-то внутрь и смотрел так серьезно, такими глубокими блестящими глазами. Каждый молился с таким восторженным увлечением. Многие стояли на коленях и шептали вслух молитвы. У многих слезы текли из глаз.

Я оглянулся назад, на угол, в котором осталась наша компания. Там в тени стояла княжна впереди всей группы. Мне казалось, что на её лице был какой-то вопрос, какое-то недоумение. Оно было сосредоточенно и грустно задумчиво.

Когда начали прикладываться к кресту и в толпе опять началась суетня, то я снова оглянулся в дальний угол. Но княжны и компании там уже не было.

Я бросился к выходу из бастиона. Я думал их встретить где-нибудь на скате кургана, но их нигде не было.

Я взбежал на угловую башню и взглянул на поле. Везде ещё продолжалась уборка тел, везде сновали группы солдат, возились, копошились, везде несли носилки с ранеными и убитыми. Точно муравьи вытягивались в длинные цепочки и пропадали в неприятельских траншеях. Кое-где сновали фуры с красными крестами или платформы, на которых правильными рядами укладывали убитых.

Я взглянул налево. Там, вдали было облачко пыли, скакала кавалькада и впереди всех чернела, женская фигурка в шляпе-берсальерке.

LVII.

В эту ночь, – чуть ли не единственную ночь под Севастополем, – батареи и траншеи молчали. И как-то странна, непривычна была тишина, после несмолкаемого грома и штурма.

Я почти всю ночь бродил по полям и долам. Это тоже была привилегия этой ночи. Облака неслись, друг за другом, легкие зеленовато-серебристые, облитые лунным светом. Порой они раскрывали яркий, почти полный месяц. Он серебрил всю даль и поле, на котором чернели лужи, свежей, не высохшей крови.

Но все ужасы битвы как-то ступсывались, отодвинулись, ушли куда-то вдаль, а на сердце было легко, как в теплый праздничный, весенний день.

Помню, я пристально посмотрел на месяц, и вдруг вспомнил о ней.

Мила, величава, как месяц полночный,
Царица мечтаний и песен и снов.
Как он недоступна, в красе непорочной,
Оковы дарить, но не носить оков.
Разбейся же сердце! С высокой лазури,
С лазури не сманишь на землю светил.

Да почему же «не сманишь» думал я и при этом припомнил отзыв Фарашикова.

– Она, сударь ты мой, девка самая противная. Дразнит тебя. Хвостом пред тобой виляет. А в руки не даётся. Сушья гадь!

И ещё припомнил как при этом Сафонский торжественно продекламировал:

Не то гадь сушья,

Что деньги берущая
И тебя сосущая

Я помню при этом плюнул и пошел вон.

Я понимаю, что если бы она не была так хороша собой, то их ожесточение против неё не было бы так полно и радикально. Они не могут понять ни её оригинальничанья, ни её своеобразного взгляда на вещи. Они ненавидят, потому что много, бессознательно любят. Я несколько раз замечал, как взгляды всех, решительно всех, были прикованы к ней. Они ненавидели и в то же время невольно любовались ею.

Говорят, что бабка её была черкешенка или грузинка, но все равно; она сама – лучший тип женщины нашего кавказского племени... И в особенности эти мучительно жгучие, большие черные глаза!.. Сколько в них силы!!..

Они часто являлись мне во сне, но это уже не был тот кошмар, который так болезненно преследовал меня после того вечера, как я увидел её в первый раз.

LVIII.

После бури наступило затишье: после штурма Севастополь отдыхал. Неприятель не тревожил его почти до конца июня. Мы же до того свыклись с обыкновенной бомбардировкой, что она для нас являлась чем-то вроде уличного шума от колёс и всякой возни. И среди этой условной тишины, везде на всех бастионах царила убийственная скука...

Взойдёт летний, жаркий, скучный день и тянется как медленная пытка вплоть до душевного вечера. Товарищи дуются в карты, под защитой какого-нибудь блиндажика; а я брожу, как тень тоскующая, и жажду хоть капли чего-нибудь, чтобы занять мою ноющую душу.

По временам, вечерами, мы собирались на шестой бастион. Там был разбитый рояль. Сюда приходили любители со скрипкой, флейтой, кларнетом и устраивали нечто вроде музыкального вечера, с аккомпанементом вражьих выстрелов. Лейтенант Тульчиков, брюнет, красавец, с прекрасным тенором, угощал ариями и романсами. В особенности один романс тогда врезался в моей памяти и раздавался в ушах днём и ночью. И до сих пор, как только я услышу этот романс, то тотчас же всё Севастопольское время воскресает в памяти с поразительной ясностью, со всеми его перипетиями и «мучительными днями». Вот и теперь я как будто слышу, как он начинает глухо, *morendo*²²:

Вглядись в пронзительные очи:
Не небом светятся они,
В них есть несправедливые ночи,
В них есть мучительные дни.
Пред троном красоты телесной
Святым молитв не зажигай,
Не называй её небесной
И у земли не отнимай!..

И потом этот чудный переход:

Она не ангел-небожитель
Но о любви её моля,

²² Morendo. (= умирая) – музыкальный термин, требующий постепенного уменьшения силы звука до полного его ослабления, замирания.

Как помнить горную обитель,
Как знать, что небо, что земля!

С ней мир иной, но мир прелестный,
С ней гаснет вера в лучший край,
Не называй её небесной
И у земли не отнимай!..

И сколько раз в течение севастопольской муки, сколько раз среди бессонных, душных ночей я повторял слова этого романса.

Я и люблю, и ненавижу,
И в ней все счастье моё
И все несчастье так-же вижу...
О! не кляните вы её.
Мне это будет горько, больно...
Клянусь безумие моё,
А все люблю её невольно!..

И помню в первый раз, когда я робко, несмело, самому себе признался в моей любви – я ужаснулся.

«Давно ли, думал я, мне казалось всякое увлечение немыслимым, и моя разумная, глубокая любовь к Лене представлялась геркулесовыми столбами, дальше которых нельзя идти; и вот!»

Впрочем, я отдался не сразу этой новой и «ужасной» страсти. (Да! для меня она была ужасная!) Помню, сначала я долго боролся. Я почти месяц, целых три недели не видал её. (И сколько на моем месте не выдержало бы и половину этого испытания!). Правда, в течение двух недель я чуть не каждый день ходил в Севастополь. Я был в госпитале, в бараках, у Томаса. Везде я жадно прислушивался, не услышу ли где-нибудь её имя; но оно точно в воду кануло.

Каждый раз я шел с смутной надеждой, что узнаю что-нибудь. – Спросить прямо кого-нибудь об ней мне не хотелось, да, может быть, не достало бы и духу спросить хладнокровно; а выдать моё чувство мне было и совестно. и обидно. Протолкавшись и прокутив целый вечер с каким-нибудь встречным человеком, я возвращался обратно, со злобой отчаяния.

Помню, в Севастополь я ходил всегда мимо бастионов, спускался около восьмой артиллерийской бухты и оттуда выходил на Николаевскую площадь. Это был самый безопасный путь. Но оттуда возвращался отчаянной дорогой; в особенности была одна площадка, которая шла от нашей батареи к Чесменскому редуту. Здесь пули, ядра, бомбы крестили и бороздили воздух и землю. И я помню, по целым минутам выстаивал на этой площадке, с сухим отчаянием в сердце, думая: вот, вот ещё одна просвистит, прилетит и прямо в это сердце – неугомонное и беспокойное!

LIX.

Наконец я услышал об ней.

Раз вечером наши вернулись из Севастополя, и Простоквасов всех оповестил: что «дикая девка» опасно больна и Севастопольское воинство, благодаря Господа, кажется, наконец, от неё избавится.

– Конечно, – прибавил он, – смерти человека грешно желать, но когда эта смерть избавляет многих от пагубы, тогда поневоле согрешишь и пожелаешь.

Я почти всю ночь не спал. Я хотел просить, молить сжалиться, пощадить... но кого?..

Я встал рано и с дрожащим сердцем отправился в Севастополь. Я почти бежал и в девять часов уже был на Николаевской площади.

Пришлось ждать, ради приличия, чтобы не явиться к больной ни свет, ни заря. Да и примут ли ещё меня?.. Но все равно: я что-нибудь узнаю... в половине 11-го я стучал у заветной двери.

Меня почти сразу впустили. Какая-то молоденькая, толстая горничная, с масляными лукавыми глазками, впустила меня и просила обождать.

В комнате пахло теми же духами. Но к ним примешивался запах каких-то лекарств.

Через несколько минут ко мне вышла тётка и ввела меня в другую комнату. Там царил полумрак и на широком диване полулежала она, поджав под себя ноги – вся в белом, худая, бледная. её лицо едва отделялось от пеньюара и только глаза большие, черные казались ещё больше. Но в них не было обычного блеска и всё лицо смотрело каким-то опущенным, померкшим.

Молча протянула она мне руку. Молча пожал я её, холодную, исхудалую.

– Вы были больны!.. Что с вами было?

Она пожала плечами, повертела головой и медленно проговорила.

– Не знаю... – лихорадка, горячка... – почему я знаю?

– Десять ночей мы с ней не спали, – вмешалась тетка. – Десять ночей между небом и землёй. – Спасибо Вячеславу Ростиславичу.

– Кто такой Вячеслав Ростиславич? – спросил я вдруг.

– А наш доктор штабной... Я думаю знаете Вячеслава Ростиславича Карзинского... М-г Karsinsky.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.